

# БОЛЬШОЙ КРЕСТ

Повесть-сказ

Солнышко Господне вон как садится-играт... В зорьку разливается. Гляди.

Хошь – рядом гляди, садись.

Я уж ёво не пропускаю.

Гляжу...

Мы ведь сё с Иваном Исавым, два старика, самы долги-высоки, раньше на брёвнах вместе сидели. Два вдовца... Тута сё. Окыл мазанки. Как солнышку-то спадать. И каждая зорька – у нас на глазах. Роботу стариковску всю домашню, какую-никакую, сполним и – не пропускам.

Ну – он год скоро как в земле, Иван. Не видит. Там солнышка – нету... Как, чай, ёму тама жалко, в тёмным в гробу в своём, в земле: вон оно льётся-клонится, над бурьяном-то – пожар быдто краснай, а – уж не видит оттудова Иван-от. Не посидит... Я мол, тесно там. Да чай жёско. Спине-то...

И мы с нём – самы высоки-долги-двухметровы – по всей округе, считай, на свете два токо эдаки уцелели. Изо всех высоких, знашь. При этом режиме. Стары крестьяны два. Щас уж порода-то другая пошла: чудная да мелка... И карахтеры – тожа: незнай какея...

Чай, ище в мальчонках глупых – дружились мы с нём, с Иваном! Жуков маиских сё в сумерках сбивали-прыгали. С горы зимой в одном буке катались-падали! Ище в мальчонках глупых... Ну, и сидим, бывало, стары старика два, самы долги. Помалкывам. До темна – до звёздочков...

Он ведь, Иван Исав, лишнего не городил. Рази токо думку свою тожа думат-сидит. Да так... чово обмолвится. Вспомнит маненько...

Зорька-то над бурьяном как пылат-горит – молчим, бывало.

А ведь которы меня за жизнь замучили – языками своими! Ей-пра. Пристанут сё, как репы, пёс знат с чем – то с одним, а то с другом. Пристают – а сами и не верют!.. Сумлеваются. Сколь годов нам не верют, что дом-от наш, большой лунёвской, пятистенной-шатровой – сам запылал да сам дотла сгорел: до головяшков черных, до угольев, знашь. Вон – на тем месте, где бурьян-от вырос-ростёт... За спинами сё, бывало, шопчут:

– Это ведь Овдокея Лунёва – дом свой сама сожгла!

Вот эдак сё на маманьку нашу, на покойницу, царство ей небесно, кивают.

Ну, щас – не так. А в ранешно время конторски-то – в глаза тыкали:

– Уж какая ваша маманька Овдокея хи-и-итра была! Таких хитрых-то – и на свете сроду нету. Под землю, люди-то бают, на семь сажон видала! Маманька-то ваша. Чай она – из Чибирёвых взятая: у-у-у!.. Сожгла.

– Да каку таку фарью оне, люди, знали? – в сердцах-то сё в конторе изругаюсь, грешник. – Лучше нас самех, Лунёвых, что ль, знали? Что жа мы-то до сего время – не знам?!.

– Ну! – бают, квитанцию пишут. – Эт уж вы, Лунёвы, таитесь: знамо дело – скрытны!..

А есть – молчком, знашь, отворачиваются. Партейны – странни-приежжи. И сроду не знам – чье. В Лунёве-то живут. Галчины затылки.

На праздники свое щас трибунку дощату сколотют, тряпицей красной кругом её обмотают, на живу нитку помост себе сладют – и на нёво лезут все друг за дружкой, по ранжиру. Бород у них уж нету никакех – ни клином, ни заступом. А токо рылы скоблёны-бабьи – как у плясунов. У скоморохов-плясунов. Вместо бороды-то – сё быдто пятка гола наружу торчит. И стрижены, знашь, не под кружалу-не под горшок, а космёнки у всех до самой до макушки ножницами обскубаны. Затылки-то – галчины: топырются! У безбожников.

Костюмы на всех кряду – черны-дорогея... А спины – сё уж одно корытом: как у бесов.

Ну и вот: гляну я середь ихого праздника, середь демон-страдции ихой остановлюсь – ну-у, полезли наверх, пузаны. На краснай свой насест, галчины затылки.

– Да-а... – в сторону-то сё подумью. – Вон ведь как иссушила вас заботушка – о судьбах-то людскех! Совсем уж вы исстрадались. И от печали-кручины за весь народ-от сами себя ширше стали, радетели...

Он, каждой начальник присланай, урод, что ль, какой от выучки ихой делатся? Без глаз, без ушей, знашь. Чистай пенёк. А кто ёму дело калякать зачнёт, из лунёвских-то из старых, он сей же час с открытыми глазами стоймя-сидьмя от важности – тут жа засыпат. Глаза токо стеклянны по круглому сделает, их для блезиру как следоват установит-наведёт, чтоб уж не захлопнулись ба, – и спит из прынципу: не слушат! А просыпатся – токо если другой начальник какой к нёму подбегёт, с бумажонкой-документом сбоку подскочит. Уж токо для нёво чуток проснётся. Подпишет. Каракульку – другую. Ручкой маненько наваракат – да опять спит как статуй.

– На нет изроботались, народны вы слуги! – думью. – Щёки-то ваши – треснуть хотят, и из-за спины их всем – видать.

Ну – молчу, конечно. Плюну – да дальше молчу-иду.

Уж натворили тут делов, помещики-то новы. Что в революцию творили, что щас творят, разъязвило бы в корень всю иху бесову породу. И с четырнадцатого году – с войны самой, знашь, – токо сё народ с трибунков жалеют во всю глотку лужёну. Знамо дело – ораторы: орут – уж не перестают... Залезут куды повыше – и жалеют, знашь, трудово крестьянство!

Пожалел волк кобылу. Оставил хвост да гриву...

Галчины затылки – оне галчины затылки и есть. Чай, уж сроду примета такая раньше была: как токо галка, птица глупа сама, – жадна-чёрна-никудышна, – перед домом твоём сядет да разорётся, уж беду всёму этому дому бедовать – и не миновать! Да... Такая она, верна примета, была и есть.

А дом-от наш сё людям покою не давал – ты думаешь, просто так? А вот оно – не больно просто. И оно – не так. Изо всех ведь домов – дом-от здесь был! Низ – дубовой шёл на три венца. А верх – сосновой. Брёвны-ти – семивершковые! Вот эдаки вот... Чай, тятенька Иван само-лично ставил: уж не скупилси. И лес во дворе вылёживалси два года кряду: чтоб их, брёвны, в срубе не свело ба...

По первости, как от дедыньки отделялси, он ведь тут мазанку токо вот эту, саманну-длинну, сложил. Тяп-ляп, скорей. И токо маманькин брат старшай, Миканор

Иваныч Чибирёв, больше всех ёму подмогал. Дяденька Миканор. И землянэя, с соломой, кирпичи ворочить – он, бывало, с утра идёт. И сырэя набивать – по двору их раскладывать-сушить – он. И стенки по уровню выводить – сё дяденька Чибирёв.

Уж пособлял – Миканор Иваныч-то. Много возилси!.. Ну-у – он какой умнай был. Лишнего – тоже не калякал. А понимал токо всё – наскрозь. И кого-кого, а ёво, Миканор Иваныча, на кривой-то кобыле, бывало, не больно объедешь. Взгляд-от – какой сильнай-твёрдай был... Он ведь где и не глядит, а – видит. И словцо уж если своё молвит – эх, как ёво все слушались! Чай, бают, сам Миканор Иваныч Чибирёв считат!.. То-то и оно.

Вот, мы в мазанке сё, тут, и росли. Дети-отроки. Как во времянке, знашь. Покудова тятенькин лес вылёживалси-лежал.

И ввечеру плотники у нас четверть самогону, с солёным салом, с луквицей как раз выпивали. Дом-от пятистенной ставили. Топорами день машут без обеду-без роздыху, а смеркнётся – уж с самогонкой в мазанке ужинают. При карасиновой лампе. Метут всё кряду – и пироги горячи с гуськом, и пироги с вязигой, и пшонник ли печёнай, кашу ли молошну, с коровьим маслом. И дальше салом закусывают – степенно сидят-калякают. Покудова всю четверть, знашь, не оприходывают. А там и спят по сеновалу как убиты, сыты-сытёхоньки: топорами-то намахаются...

Ну – утром, на зорьке, уж токо по две стопочки им наливали. Мужикам. Да маманька Овдокея бараньи щи горячи-жирны, с капустой кислой, сё затемно варила в ведерном чугуне. И, прям огленны, на стол им выставляла, и мясо горяче-жирно в отдельным блюде кусками им с верхом клала. Уж в перву очередь их, всю артель, кормили.

А мы – что? Дети-отроки, знашь. Свово часу дожидались – как позовут. Под ногами-то не больно крутились. И рази что стружки-щепки за всеми день деньской мели-убирали. Да бегом подносили – чово полегше. То квасу ковш, то утиральник – а то струмент какой... Кому стамеску, кому зубило – кому коловорот, знашь, а кому – шершебель, рубанок ли. Дети-отроки...

А что? Не уважь-ка ты – плотников-то. Попробовай... Оне тебе настроют. Уж оне тебе такую избу срубют-сромодят – век ты их не забудешь... С ума свово сойдёшь, в новом-то в дому. Так в нём наживёсси – свету вольного не взвидишь. Спятишь! Ей-пра.

И за ними, за всей артелью, ты ведь – не углядишь. А и углядишь – сё одно не поймёшь, где оне как нады делают, а где в отмеску, назло-нарошно, топорами узоруют. И не поймёшь – и не уследишь.

Я уж – нашто до осьмидесяти шости годов дожил, а и то – не больно ище всё знаю... Да. Уж никто, окромя них самих, их таинов всех – не распознат. И не выведат – сроду. Оне с чужэми – молчат. Артельно правило их тако строго сроду было: про таины свое с чужэми людьми – молчать токо шибче до самой гробовой доски! Закон уж такой плотницкай, с исстари заведёнай. Оне ёво в могилку ведь свою потом уносят. А там, в могилке, не больно разболтасси. И запрету уж там нет никакого, а – не больно: не раскалякасси... Да!

Бывало, возьмут, да в оконны коробки, а то ище и в двернэя, брусьи-то прибьют-поставют – комелем вверх, вершиной вниз! Кверх ногами приладют – в отмеску, знашь. Ну, и стёклы уж весь век зимой мокры стоят. Плачут окны ручьями, заливаются. И дух в избе – тижёлай, мокрай. И блесень-гниль – по всем уж стенам идёт, понизу расползатся. Блесень-гниль...

Видала, что ль – в которой избе тряпки свиты-мокры, на подоконнике разложены-свешены, верёвками до полу висят? И с них вода – в банки-черпачки-горшечки – капат-стучит? А хозяйвы сё – дивятся токо:

– Ба-а-а! Как у нас окны-ти плачут – спасу нету. И незнай какея слезливы что-то!

И ты думаешь, оне, окны, без причины плачут-грустят? А это, чай, плотники наозоровали! Ты им не больно поклонилси – вот и кланийси теперь всю жизнь горшкам своем да черпачкам. Выливай их в вёдро по одному – да под окошко опять кланийси-ставь. Да мокриц по всем углам веником гоняй-смахывай... Вот, каждой раз и поминай, как плотников-то не уважил!

И дверь у них – уж всю зиму запотела-мокра, как больная-хвора, стоит-обливатся. Летом-то высохнет – да сё и треснет, знашь, вдоль волокна-то. А и не треснет – шас её от тепла сикось-накось ведёт. Ломат-коробит, кособочит-крючит. Её и не захлопнешь. Вот и пляши вокруг неё с фуганком своем, поворачивайси-успевай. С петель сымай – да подстругывай. Где подстругывай – а где латки прибывай. Ровняй горбатого – без дела не сиди! Она опять зимой намокнет, как лихоманка, – да раздастся. А хошь, и нову ставь – сё одно её сведёт. Ну и занимайси уж всю жизнь токо окными да дверями: работай! Не скучай.

А то – хуже подсуропют. Если токо хозяйвы их за дешёво больно наняли, да впроголодь, не вволю, кормют, и если токо зря поторапливыют-придираются – оне ведь, плотники-то, и не перечут! Не связываются. А шас же махоньку дырку в бревне молчком и выдолбют. Выдолбют, знашь, долотом – и тут жа, из-под твоих глаз, покудова ты к ним придирасси-стоишь, бузырёк какой-никакой подобранай, бутылочку ли какую, туды и ввёрнут. Вставют, знашь, бузырёк-от. Горлышком-то – на улицу. Да, може, ище и не один!.. Ты и не дощупысси сроду, где он, в каком пазу,

в пакле, а може и под стрехой, втиснутаи. Глазком-то наружу. А уж спокою в этом дому – не дождёсси. Ветерок токо дунет – и щас же гул по всей избе стоит несусветнай: стены свистят-гудят, знашь. Как бесова свадьба!

А уж позёмка взовьётся-закрутится, да если пурга верхом полетит, ну – и святых выноси. В таком дому токо глухой уснёт. Она от гула-свиста, изба-то, вся стоном стонет, и ходуном от стону своо – ходит. Вот ведь как!

Ты её через год, таку свою избу нову, бегом за пыл-цены отдашь: токо ба сбагрить! Купит, конечно, кто не знат: купит-слупит... Страннай кто-небудь. Из Татарского Шмалаку – иль из Мордовского Шмалаку. А там уж, скорей-скорей, опять эту избу кому-никому, хоть за бесценок – да вотрёт. Да опять в Морд-Шмалак галопом, со всем своим мордовским добром, на рыдване и ускачет, знашь. Ноги, радёхонькай, назад, в свой Шмалак, скорей унесёт. И уж там у себя, в Шмалаке, сидит, да в спокое токо крестится, мордвин-от. Не опамятоватся некак.

Уж не один год вздрагиват, чай, – хошь мордвин, хошь татарин...

И кто, теперя, не знат, то на нечисту силу тут жа – сваливат:

– Заколдована изба!

– Знамо, заколдована.

Старух, бывало, к себе навёдут – отчитывать. И был ба батюшка-поп – тот сразу ба раскусил. А оне, старушонки слепеньки-хроменьки, что? За кусок ситчику-сатину, знай – стараются-молятся: о храмине, от злых духов стужаемой. А тут нечиста сила-то – и капли ведь не виновата. А – скупость: плотникам не угодили.

А не угодили, поскупердяйничили да поленились – мяса плохого, с жилами, купили може иль жёску им постилку на ночь кинули, – вот и поминайте их, плотников-то своих, всю жизнь потом: минуты их не забывайте! Да. Вот оно что и выходило: дорого – да мило, дешёво – да гнило...

А в нашем дому – и окошки сухея стояли: лёд на них капли не намерзал. И – тихо. Уж нашто Миканор Иваныч приходил, сам глядел и битай час все стенки снизу доверху обстукывал. А и он тятеньке сказал:

– Хорошо, Ванюшк. Молодец.

Эт уж значит, самогонка тятенькина – крепка-чиста была! Да щи жирны – вдосталь. Всем, знашь, им угодили! Всей артели. Вот оне и роботали. Плотники.

И в одно-едино лето вон какея хоромы нам до конька всемером отмахали! После Радованицы подрядились, а уж к Воздвиженью-то наличники достругывали-

дохаживали: наличники – карнизы. Ище до снегу первого... Токо, знашь, змеи по лесу в норы ушли, на зиму обмерли – а мы уж в дому в новом печку затопили: до холодов! Успели. Да... Ну, та змея, котора не стерпела да человека летом тпнула-куснула, эту злую саму змею – земля ведь не принимает. Она, если проштрафилась – змея, то уж так, поверх, под кустом где-нигде совьётся, скукожится, кой-как притулится. Да и валятся, знашь, бездомна – всей роднёй брошена... Ну и в зиму замёрзнет, конечно.

А вот – не кусай: зла людям – николи не делай!..

Земля, она в себя зло брать – не любит. Она ведь – чиста, земля... Чай, вон, Ленин, антихристово племя, – так, поверх, под стеклянкой вытянутой, сколь уж годов стынет-лежит? Земля ёво в себя не принимает. Знать уж накусалси!.. Народ-от русской сё пиял да жалил! По всей Россее, знашь, изводил! Сколь кровушки нашей попил, душегуб... Ну, и стынет теперя, в пинжачке-то – в галтусе, не упокоенной. Такая ёму казня вышла: не упокоенной-не отпетаи на виду у всех, нарядной, поверх земли – валятся-стынет. И токо где – чугунной, дорогу всем рукой указыват-не устаёт. Чтоб не заблудились ба. Один правду настоящу он, чугунной лоб, знат, куды шагать всем безголовым нады.

Э-э-э! Зря ведь и старатся. Чай, люди-то сё одно потихоньку сроду знают: уж в ком добра нету – в том и правды не бывает!..

А про что я, бишь, завёл? Я – вон про што завёл: про тятенькин дом я ведь сказываю...

Чай нас потом – пять семей в нём вместе жило! Старики-родетели наши: Иван Иваныч, значит, с Овдокей Ивановной – с маманькой. Хозявы... Да у нас, у четверых сыновьёв, по своей семье уж было.

Вот меня Василий окрестили – это я второй сын был: Василь Иваныч. Да.

А самая старшай у нас был – Иван: Иван Иваныч тожа, как тятенька наш...

А за мной – опять, третий-то, Иван народилси. Токо уж не Иван мы ёво звали, а – Вашка.

И младшенькай самая – Тимофей: Томка, знашь! И уж нашто все Лунёвы сроду, из веку в век, росли, под потолок, – прямэя-рослы-не суглобы, да ище, знашь, красивы мы считались!.. А вот уж Томка – он ведь изо всех нас, братовьёв, красавец был!

Ну и балвыли ёво – тоже хорошо. Томыньку. Что маманька Овдокея балвыла – младшенькай: он уж макушкой притолоку подпират, а сё – маненькай самая! – что чужэя люди. Все Томку-то нашего больно любили: весёлай-лёгкай...

Эт ведь – не то что: хороша дочка Аннушка – хвалят мать да баушка. А так уж и со стороны считалось... Чай, мы – не бахвалы аль бахари-пустомели какея: из нашего роду сё в гренадёры ведь, из лунёвского, мужиков-то забирали. У Исавых – парней в гусары брали, те – тоже двухметровы-красивы. А наших – сё в гренадёры. По росту, по красоте... Ну – ясноглазы, смелы, и людям в глаза все Лунёвы – прямо сроду мы глядим! Киснуть-то – не приучались... Да ище – рост, знашь!

Эт – не в бахвальбу, а в рассужденье: Бог уж так нам дал, и так нам устроил.

Нас ведь, Лунёвых, из-за этого и женили – рано! Исавых парней – да нас. Гулять-то – и не давали. Кабы с кругу не сбились... Щас усы показались – ну и скорей-скореея, бегом да тычьма: оженют. Пока не сбалвылись, не успели.

А женили – как? От, усы маненько пробились – щас тятенька синий гартуз хорошей надёват и по сёлу идёт: туды, где девка по норову пришлась-показалась. Да потом дома сыну-то баит, гартуз сымат:

– Эх, Вашк! Не годяща – девка-то твоя! Совсем никудышна. Чело-то у ихой печки – больно бело! Бело – не закопчёно. Ты её ведь зря выбрал! Обшибси ты с девкой-то маненько. Приглядывай другую! Не благо-словлям.

Девка хошь какая – она ведь дом-от как поведёт? Как матерью её заправлено: в точность! А чело больно бело – эт уж чистюни, что мать – что дочь: лишней разок печку оне обе – не топят, а всухомятку терпят-давятся. И лучше – куски сухея сглонут, студёной водой на ходу запьют. Не топят-не готовят, чтоба уж нигде не закоптело ба, а – чисто всё стояло ба.

– С такой жоной – голодной ты, Вашк, век-то насидисси!.. Сызнова, Вашк, ищи! Не благо-словлям.

Ну и забраковыват, девку-то. И Вашкину девку – токо четвёрту, Шуроньку, в дом-от ввели. А то – некак: то, знашь, чело больно бело – а то уж больно чёрно что-то: нюряха девка! Думали, и не оженим.

А как в дому чисто – и чело маненько токо закопчёно, уж значит – и готовит много, без устатку, инда подбеливать не успеват, и по дому – хорошо убирается: старатся, знашь. Девка-то.

И вот, нас по челу печному всех троех честно женили и – по невестиным глазам: чтоб – светленьки-радостны были. Как фиалочки. Иль, може, как незабудки что ль какея... Эт уж сызмалу мы знали: всем такой наказ делалси и в роду исстари держалси: чёрнай глаз да карий глаз – минуй Лунёвых-нас!..



А вот Томка один токо – по баловству, с наскоку, оженилси. Нютонька – она ведь и кареглаза была!.. А что? Томка Нютоньке-то своей – шопнул-сыбразил. И Нютоньку глупу в девках потихоньку, под сыренью-черёмухой, в сумерках и научил:

– Как завидишь, тятка к вам вдоль улицы в синем гартузе шагат – лучинку бегом зажигай, чело-то — подкопти маненько...

Втихомолку подговорил, знашь. И вот Нютонька – смиренна-покладиста, как плетышёк, и середь бела дня тихохонько по земле-то – как по лёду склизкому, шажочкими ступат, да мечту, пёс знат какую, сё в голове – мечтат!.. Ну и на тихим-то своем ходу – грезит-лыбится. А тут – сразу проворна оказалась! И прытка – и расторопна. Укараулила!.. Подкоптила, знашь, успела и – как нады: не больше – и не меньше. Вот тятенька-то на каре глаза – уж ладно! – рукой махнул: больно чело-то печное подходяще!

– Оне, – баит, – у неё, глаза, враслопырку всё жа: круглы-не узеньки... И быдто с прозеленью, что ль? Как желтоваты. Навроде орехов леснэх всё жа... Э-э – не черны, не приторны, и то – ладно.

Гартуз-от снял, повесил на гвоздок, да и:

– Ладно. Пойдёт! – баит. – За третий сорт сгодится. Благо-словляю! Живите.

Ну, и Томка наш, весёлай да уж больно красивой, последняй, знашь, женилси. И её, Нютоньку свою, совой токо, без имя, звал:

– Сова-сова, где моя сова?..

Ба-а, хорошо ище – тятенька строгой был! А то совсем ба – и жонатай! – сбалвылси ба, Томка-то. И на сову свою, на детишков, не оглянулси ба, не успел... Нютонька сама – пока очкнётся да пока проморгатся-сыбразит – эт где ба она ёво удержала? Пра, сбалвылси ба! Уж больно девкам да бабёнкам всем кряду казалси.

А оне, крали, голову – у-у-у: быстро заморочут!.. Мы ведь – знам: как оно бывает. Знам – не проболтамси.

И вот уж он жонатай был, у самого – двое детишков уж друг за дружкой народилось, а маманька-то Овдокея сё ёму кокурки сдобны из печки, знашь, тайком в карманы совала да канфетки из-под подушки своей: привыкла... А то – яблочки-ранетки. Он – мужик: стеснятся. Возьмёт, да всем нашим детям, без разбору, скорей рассуёт. Свое-то – чово? Груднэя. Кокурки-то дёсными – не угрызут-не умнут. Ну, и рассуёт, знашь, нашим... А маманька – опять:

– На-ка тебе, Томынька, покудова никто не видит, а то что-то ты вроде как похудал! – баит. – С тела-то спал быдто!

Диви ба – худой какой, немощной был...

– Ты, – баит, – не ухватистой, тебе чай и за столом-то не достаётся!

Так ей сё мерещилось. Уж пуще всех любила – Томыньку нашего. А меня – меньше всех: второй.

И был я – не любимай её самай сын.

А что? Меня ведь тятенька больно хвалил. Что терпеливай я уродилси. С пелёнков – не зёвластай. Ну, она родила-поглядела, чай, – да и рукой махнула: ба, нетрог ёво отец сам любит – он, Васятка махонькай, и без моей любви вон уж как хорошо с рожденья свово обходится! Пускай – нетрог.

Да ище, знашь, тятенька мне гармошку хромову настоящу в парнишках купил-привёз!

Сказал:

– Лучшай кусок ты себе, Васятк, сроду не цапашь. А пчёла, оса ли тятнет-жалньёт – молчком до слёз терпишь, не боисси. И мёд качать сильней всех подмогал – вот с мёду тебе гармошка. Вот ты и играй!

Так при всех за столом – сказал.

И с Вашкой мы в парнях на ней сё играли. На хромовой...

Ну, уж и не любила она нас, маманька Овдокея – что меня, что Надёнку мою, что наших детей. Боялась, бывало, нам лишнего-то передать. Мудрвала сё. Караулила, знашь, кабы отец нам чово не посулил – лишнего да больно хорошего... Следила.

А ведь отцовска-то любовь, она что? Отцовска любовь – дорогая, да пустая. А куды шея повернёт, по шее всё в дому и выходит-делатся... Царство ей небесно, конечно, маманьке нашей Овдокее, и со святыми – упокой. Пускай уж наши с Надёнкой обиды ей Господь на тем свете – не поминат-не засчитыват, и все их до единой – пускай простит. И тятеньке нашему – царство небесно тоже. Да. И со святыми – упокой.

А Надёнка моя у тятеньки была зато – завсегда сама лучша ёво сноха! Понятлива да на ногу скоро. Тонка-звонка и – подбориста... Да. Что уродилась – то уж уродилась: да.

В девках-то ходила, коса-то по спине – чуть не до полу, тижёла-тижеленна, инда голову ей оттягиват-тянет. Как литая-латунна – коса... Чай, два гребешка она

после свадьбы носила! И один гребень – косы тижёлы-замотаны никак на затылке не держал: падал, знашь... Уж уродилась.

И вот она, Надёнка, тятеньке больше всех снох казалась! Глазки-то – приветны. Да ище церковны книжки по праздникам сидит-читат: хорошего роду. Надёнка... Она читат – а все дети лунёвски вокруг неё допоздна сидят-стоят: слушыют. Про святых мучениц, бывало. Про память болярыни Феодосьи и княгини Овдокеи, сестры ея. Уморённых гладом за веру во Христа... Сами уж в рубашонках холщовых стоят, глаза трут – а спать-то сё не ложатся. Младенчики – и то окыл неё, бывало, грудются. Ище глупеньки-неразумны – а тожа: с ней. Как правдышны – слушыют...

Читат им, бывало, да гребень сё поправлят: то один – а то другой. Надёнка-то. Косы-то – тижёлы...

Ну – одно: обидчива больно! Беда... Маненько не так на неё глянул – тут жа подбородок-от задрожит. И – раз: в сторону сё уйдёт, Надёнка. В сторону утвернётся-уйдёт – да перживат-моргат. Слёз своих никак не казала... А там уж опять – смеётся: отходчива. И уж злом сроду не помянет – и на маманьку Овдокею не пожаловатся сроду: сердца-то – ни на кого не держала... Вот, тятка её в обиду и не давал! Жалел.

Он ведь всем нам, тятенька, ище когда наказывал:

– Из пошонцовского роду умного – девков-то берите! А дурочков – другом парням оставьте. Пускай оне с дурами всю жизнь и разбираются, и воду в ступе – пускай оне с ними напару зря толкут: спорют да дёрутся, да друг на дружку дуются. Пускай другея с дурами всю жизнь тягаются – а не вы!

Я и послушалси, знашь. И в Эриванском его величества гренадёрским полку после свадьбы – служил. Надёнка-то молоденька сё в снохах ждала. Письмы ночью писала – да на почтву их утром носила-бегала: как жа!

И вот, тятенька наш Иван Иванович на торговлю с возом, в Балаков ай в Вольск, не Ивана, старшего, отправлял. Не меня, второго. И не Вашку нашего. А сё – Томку. Больно Томка удачливой-лёгкай, раз-два – и расторгуется. И сё – с барышом хорошим домой, весёлай, возвернётся!.. Удачливой.

Вот, знашь, всю зиму мы, сыновья, в мазанке кожи квасим, выделявам, да шлеи-узdechки режем-шьём, кнуты осьмигранны цыганьским узором крепки-тугея плетём – в мазанке, знашь. В ней уж не жили, а два чана сразу под кожи поставили – с крышками тугеми... А март маненько проклюнулси – знай воз нагружам. Ну и Томка щас собралси – подпоясалси, на Миколу помолилси – у тятеньки благословилси, баул подхватил и – за вожжи: шорнай товар, зерно ли на базар через Шиковку повёз. В гору-то идёт – шапка набекрень, да на лошадей токо посвистыват,

знашь, вожжями-то поигрывают. А под гору – уж на сани вспрыгнул: едет – на эфеси-ножки-свеси – ищё веселей!..

А как токо возвернулси – всем детям сразу узол на сундук кидат. А в узлу – кому пряник, кому орех грецкай, кому глиняна свистулька: разбирайте!

– Заяц из лесу прислал – передать вам наказывал! Прямо на дорогу с гостинцами и выскочил – в кустах сё караулил-сидел, давно уж дожидалси!

Ну и все подарки были – от зайца из лесу, у детей у наших. Вот как их заяц лесной любил-не забывал.

И вот вёсной, перед страстной неделей – тут уж вся шорна работа прекращатся. Котлы, знашь, снохи на лето моют! И в мазанке окошки настезь – растворяют. И уж так до холодов мазанка распахнута всё лето стоит: проведриватся наскрозь. В ней уж токо грибы, ягоды да яблыки, дули резаны на зиму сушут. Ну и пёкут потом великим-то постом – постны пироги с грибами. А то – постны-сладки: с сушёной крупнигой-землянигой, с яблоками ли. Да мёдом свежим их, пироги яблосны горячи, сверху поливают, знашь...

Ну. Отпостились, на пасху отхристосовались, красну горку с роднёй со всей отгуляли – уж солнышко землю парит. И тут нанимали батраков – душ пять. Из Красной поляны сё. Пахать-сеять-боронить, а там, после сенокосу, и жаткой жать, молотить. И уж тятенька с землёй, когда сеять нады, сроду – не прогадывал!

А как не прогадывал и как нам наказывал? Зёрнышко-то живое кидать в землю холодну – не больно торопилси. Мало ли что – солнце сверху жгёт! А нам каждому так калякал:

– Вот ты – не сей! А сначала портки свое – сыми. Да голым местом на поле и сядь-посиди. И если токо замёрзла твоя гола задница – вот оно и зёрнышко каждо в земле так жа в точность захолодат-зазябнет. Ты поверху, середь бела дня, под солнышком продрог, и ты вскочишь – согресси. А оно тама, в потёмках, не согрется ведь никак! Не согрется – не вскочит, и портки оно, зёрнышко, – ведь не натянет!

Зёрнышко сё жалел...

И которы, бывало, давно отсеются – а тятенька сё оттягиват:

– Погодите. Рано. Рано!

Ну и глядишь – раз: заморозки по всходам-то ударили. Да ище, да опять, да сызнава! Вот тебе и отсеялись...

А другея, бывало, наспроть – на Лунёво поле глядят-поглядывают:

– Эх! Иван Иваныч-то – что-то не сеит! Ну, и мы тогда погодим.

Уж не обшибалси... Вот мы с хорошим урожаем сроду и были!

И мы, сыновья, с батраками на Лунёвым поле вместе до седьмого поту роботам-упирамси заодно-заедино, и рубахи на нас от соли, от жару сгорают – удинаково. Встаём так же – затемно, до свету. И едим – без различки, за одним столом...

А уж к осени – батракам полной расчёт. Да нова одёжа – поверх расчёту: подарок, знашь, лунёвской завсегдашняй. В старых-то портках батраков – не отпускали... Да канфетков по узолку сё им маманька-то, бывало, от себя сунет: батраковым детям – с поклоном. Да батраковой жоне каждой – головной платок наряднай завсегда из сундука один клала:

– От Овдокеи Лунёвой, скажи. Овдокей Ивановна, скажи, с поклоном принять просила. За хорошу мужню роботу.

Ну, и батракам расчёт – нам всем отдых коротенькай. А Томку – опять собирам: пошеницей-ячменём, просом ли, овсом ли торговать: чово больше уродилось.

По-первости, по молодости, с нём, с Томкой, то Иван ездил, то Вашка, а то – я. А там уж он и стал говорить:

– Ладно-ка! Я и сам, один, хорошо управлюсь – лишни руки по хозяйству пускай остаются. Торговать – не поле пахать! Уж чай как-небудь товар-от сам растолкаю!

Ну и разок в одиночку съездил – больно большую выручку привёз. Второй съездил – маненько помене, ну – тожа: годится. А там уж и пошло:

– Я – один!

Мы: что такое – один? Чай, вдвоём-то да втроём – веселей-сподрушней вроде как! А дальше – ну и ладно:

– Съездий, Томк!.. Мы старай навоз по огороду зато раскидам. Он вон как перепрел! А там – може, и сарай к зиме вычистим, да их подправим-ухетам. Да на мельницу на старым мерине съездим... И двух лошадей, може, ище подкуём-успем, которы отдыхают: холки-то у них натёрты больно. Валяй, Томк!

Так сё рассуждам. Вот он и приладилси...

И раз, по осени по поздней, воз у нёво – смешаннай был: пошеница да товар шорнай, которой с вёсны осталси, – уехал наш Томка, да и нет ёво. То, знашь, за пять

дён сё управлялси. А там – за восемь. Дальше – больше: десять дён что-то уж торгует... А тут – неделя прошла, вторая минула, третья наступила: нету Томки нашего! Что такое?

Жона ёво Нютонька слезами плачет – ночью тихохонько до свету всхлибыват-убиватся. А днём-то уж и сама себе не рада – и сама себя не соберёт. А токо из угла в угол тычится да глаза круглы-жёлты с окон уж и не сводит: пра, сова. И то горшок разобёт-уронит – всё уж у ней опричь рук делатся, – а то иголку сё потеряет. Ну, снохи вчетвером по полу на коленках и ползуют-ищут: кабы детей иголкой не сбедить. И уж Нютоньку никто мы не попрекам, не ругамси – жалем, знашь. Совсем она хвора сделалась – хвора-бледна-невесёла. Ну и молчком – жалем все. Нютоньку.

А маманька наша – с ума свово сошла: ажно на большую дорогу ходит сё, выглядыват! Шагат шагами – быдто роботу роботат, да по часу цельному тама на ветру и стоит-не мёрзнет! Руки на груди сложит. У околицы, прямая, как верста, стоит! Томынька-то – не едет что ль?

Надёнка, да Дарья Иванова, да Шуронька Вашкина по хозяйству возются-крутятся, им тужить больно неколи. Надёнка – баню топит, в ней с щёлоком всё кряду стирает, бельё по верёвкам вешат-сушит, чугунным утюгом гладит на пять семей, уж не разгибается. Ну, и другея без дела не сидят.

Дарья с виду-то – больно строга-сурова, в точность как сама маманька Овдокея наша, и – стряпуха сроду наилучша: у печки хмель запариват, опару выхаживат, с пирогами да с квашнёй топчется, да посуду сё по три раза на дню в тазу за всеми моет-полощет, ложками стучит. Чай, обедников-то в дому сколь! Детей одних у нас у всех – уж целай выводок был, и две зыбки в дому – завсегда качались. Качались-не пустовали...

Горчицу к пирогам мяснэм она, Дарья, как токо заведёт крепку-злую! Эх: до слёз инда прошибат – горчица.

А Дарья мужикам, на хвалу-то, бывало и скажет:

– Токо не говорите, что хороша горчица – вся в стряпуху!

Так, бывало, на хвалу строжится – уж не улыбнётся...

Хлебы-то – какея высоки-лёгки пёкла! Вот эдаки вот... Сё – на капустным листу. На противни-то их сажать не любила. Хлебы. Баит:

– Нижня корка – на железе не дышит.

На листы большэя капустны их в печку сажала...

Ну, Шуронька Вашкина – а у нас ведь простенька была. Из мачехиной семьи большой взятая... Шустра-простенька, в вёснущках, знашь, как яичко сорочино. Вот она потолки в зиму сама-одна белит, полы хлещет горячей водой, косырём их добела скоблит да половики все трясёт. Любила больно – полы ба чисты везде были...И наперёд – сроду не высовываются: прячется, бывало, стесняется. Токо слушатся всех да всем кряду скорей бегом угождат. Бегат-успеват. Уж всякому словцу рада. Простенька, знашь, – полусиротка...

Вашка-то её инда оставливал! Сердилси-останавливал:

– И что ты теперь себя – не жалешь, и меры своей ты – не понимаешь? Эх, Шура – ты моя Шура: сядь-вздохни! Дела-то – в лес что ль убёгут?

Тут жа – послушатся-сядет. Да и вскочит. Опять за тряпку хвататся. Как с мачехой-то росла – уж и не остановится: моет – да трёт скореея...

А Нютонька – она трёх коров утром-вечером доит, горшки в погреб носит. И то масло на пахталке пахтат, у окошечка сидит, лопасти-то – шлёп да шлёп, а то вместе с маманькой прядут. Прядут-шьют – всех обшивают-обвязывают. Раньше-то...

А тут уж оне всё молоко токо в корчаги льют – квасют! И сметану ложкой не сымают, и творог не откидывают: неколи. Тоскуют. Пахталка, знашь, того гляди рассохнется... И уж перво дело у них стало – Томку ждать.

Ну: в зиму-то капусту нады ба рубить – бочки двадцативедерны закладывать, в погреб на верёвках спускать. Пора! С груздями-то уж давно управились-насолили, бочонки составили. И яблоки мочёны – уж тама: кадки-то – в два ряда стоят. Теперь капустна токо очередь осталась!

– Тяпки вам – точить что ль? Корыто деревянно – нести, ай погодить? – мы с Вашкой-то спрашивать устали.

А уж вся работа бабья у маманьки с Нютонькой разладилась:

– Да завтра, наверно... Ище успем! – бают-тоскуют.

Нету, знашь, Томки!

Ладно. Ищё неделя минула. Надёнка с Шуронькой уж вдвоём, без них, взялись: в дому на зиму все окошки перемыли, закрыли-законопатили. А мазанка сё так и стоит нарасхлебянь, без вторэх рам – руки не доходят: маманька с Нютонькой с хозяйства сбились. И в зиму детям портки-косоворотки тёплы – не шьют, бумазейку никакую на ярманке – не покупают. И варежки-носки к холодам – не вяжут. А шерсть – так в мешке вся в углу готова-перещипана зря лежит, и токо веретёны голы из неё торчат.

В вечеру-то, бывало, в эту пору бабы отужинали-убрались – и щас же в горницу в передню всю пряжу нарядену нёсут. Да две-три нитки в одну, покрепше, тростят – на носки толсты. Инда веретёны в блюдцах скачут-гудят! Клубки-то сё под ноги прыгают – как котятки: и не перешагнёшь – не переступишь. Через горницу-то, бывало, не перейдёшь...

Тростят – при лампе, да песню вёдут. Вот эту сё:

Сронила колечко. Со правой руке.

Забилось сердечко. Об милом дружке.

Уж эту – Дарья сама токо запеваля: любила больно – эту. Голос-от – какой сильнай-вольнай у ней был! И ладом до ночи глыбокой оне тихонько поют, клубки мотають, бабёнки все... А тут – и не песен, и не басен, знашь. У них ище и сучить нечего: не направи! Не то что тростить... Кручинются токо маманька с Нютонькой – да ждуть, не перестают.

Ну: тучки снеговэя нагнало низки – так и нету Томки! Тятенька хмурай, сам как туча снеговая-тижёла, вместе с нами скотину кормит да поит – сё молчком. Ёму уж со всех сторон шопчут, кто из Балакова-то приежжят:

– Гулят – ваш Томынька-то! Мы тама ёво ведь пьяного с канпанией плохой видали!..

Молва-то на воздусьях, знашь, сама летит и середь всех людей – ходуном ходит: Томка у Лунёвых больно уж загулял...

А тятенька маманьке не сказыват, и нам – тожа не больно. От людей токо, знашь, отмахиватся-успеват:

– Ладно-ка. Гулят – погулят, а устанет – перестанет! – сердитай, знашь.

Ну и мы поманеньку от чужэх людей кой-чово слышим. А дома – тожа: молчим. Кабы бабёнки не узнали. Переполоху-то сколь наделама!

И вот, по суху на рыдване Томка уехал – а уж земля окрепла, и белы мухи щас полетят: нету Томки!

Ну и раз, перед обедом самым, Надёнка через огород бежит-запыхалась, инда платок сбилси. И гребешки свое по огороду растеряла – косы-то за ней самой инда не поспевают, как токо она бежит-запыхалась:

– Томка едет – ей-пра, Томка!



А баня на задах – вот она от бани ёво перва и увидала. Ну и летит:

– Томынька ведь по большой дороге подъежжат!

Эх, все снохи-дети по своем углам сей же час разбежались, за перегородки спрятались: чово щас будет! Страшно всем, знашь. Дети – уж и не дышут! Гостинцев-то – и то не ждут, и зайца свово – близко не поминают: прижались. Каке тут гостинцы...

Ну. Тятенька в большой горнице щас за стол как следоват сел. И маманька, было, с нём! А он:

– Уйди, Овдокея.

И брови – шишкими свёл.

Все и затихли. А из-за перегородков – слушыют. Токо мы – Иван, Вашка да я – по дому вольно ходим: видим, знашь.

Ну. Вороты заскрипели. Дверь хлопнула сенная да избяная – взошёл Томка. Разуватся-раздэватся, шапку сымат. На иконы помолилси:

– Здорово, тятък.

– Здравствай, коль не шутишь... Садись.

Виду тятенька никакого, знашь, не показыват. Токо Вашке кивнул:

– С лошадями, Вашк, управси-ступай...

Садится Томка за стол, лоб от шапки трёт.

– Ну? Расторговалси? – тятенька-то баит.

– ...Да хорошо, тятък, расторговалси! Пряма – больно хорошо.

– Пошеница почём пошла?

– С пошеницей – встать не дали. Сё по два мешка брали! Уж думал – с руками оторвут. Я и цену не сбавлял, а как ты наказывал – столь просил. Сразу расхватали!

– Ладно. Уздечки – как?

– Уздечки, тятък, похуже. Пять дён с ними стоял, и оне ище маненько оставались. Думал, назад остатки, може, увёзу.

– А шлеи-то – продал что ль?

– А шлеи, тятък, – совсем не шли! Торгуются токо балаковски – да пальцами щупыют-мнут. Не йдут шлеи – и всё тут! Как заколдованы, скажи. А на осьмой уж день их все, подчистую, оптом мужик скупил! И – с кнутами... Из Чернавки мужик приезжал, из магазину свово. Да ище просил. Баит: «Я ба и уздечков-то не полдюжины, а все ба забрал!». На вёсну с нём сговорились – он, може, и сам за товаром к нам суды подъедет. Так мужик-то чернавскай посулилси!

– А што жа чернавски – ай уж сами-то не шорничают?

– Баит, со своими шорниками в цене он больно разошёлси! Ну и разругались оне там как раз, в Чернавке, на наше щасье.

– Помирются! – тятька-то баит. – Там шорники сроду хороши... Ладно. Выкладывай, сколь привёз.

Томка – мнётся-трётся:

– ...Тятък! Да что-то деньги – разошлись как-то. Туды – да суды... Да вот, ище – пояс я ведь себе купил! – душегрейку-то задирают-показывают.

– А куды же оне разошлись? – тятенька-то, спокойнай вроде сидит, спрашивает. – С ногами, что ль, сделались? Пошли куды – да хозяев не спросились? Да дорогу, что ль, назад забыли – ай как?

А Томка – и глаза не подымат, сердешнай:

– Да, тятък!.. За постоялай двор я платил!.. Овёс уж кончилси – я ёво прикупал... На харчи, тятък, – тожа: поиздержалси маненько... Сё щи с мясом брал... Да вот – пояс себе купил!

– За постоялай двор – знамо: дело правильно. Харчи даром – не дают... А остальнэя-то деньги где?

– Эхх!.. Да оно ведь как, тятък? С мужиком-то чернавским – мы ведь выпили-обмыли! Разок – да другой... Да ищё – пару разов... А уж потом, как мужик-то уехал... Похмелились маненько, знашь. Ну и... Туды да суды... Да вот – пояс купил!

– Ладно... И чово жа ты в дом теперя от возу цельного привёз?

Молчит Томка.

–...Ну – сколь уж есть, выкладывай: не стесняйси, – тятенька и рукой махнул.

– Да, как-то, тятък... Истратились что-то уж больно скоро! Деньги-то. Как вода, знашь. Скрозь пальцы прям. Туды да суды... Да ище – пояс вот!.. Туды да суды. Да пояс.

– Вставай! – тятка-то баит. – Айда.

Вот выходит он сам – и Томка за нём, как невольник, знашь: голову до полу свесил – следом шагат. Эх, маманька да снохи сей же час – по окнам:

– А ба! А ба! Он ведь Томку что-то в мазанку ведёт!

Шалёнки все щас накинули – во двор гурьбой тожа выскочили. А позадь них – дети из дверей, как горох из стручков. А уж позадь детей – мы, братовья, знашь, подошли-стоим. Раздевкой все. И снежок реденькай падат – мы ёво и не чуем: за Томку нашего перживам.

А тятенька – и не оглядывается. Токо слышим: щеколда-то – звяк-бряк! Тятка за Томкой дверь изнутре тама, в мазанке, запер. А Нютонька не стерпела, – жона! – да к окошку, к мазанке, сбоку подбёгла. Рамы-то вторэя не вставлены – ну и всем слыхать-видать.

– Мамань! – ба-а-а, Нютонька-то под окошком инда сомлела вся. – Страх-от какой: тятка-то – плётку ведь нову со стенки снял... Двухвоску!

А тут уж слышим – как Томка-то взвоят:

– Да ты что, тятк?! Чай, мне больно!

И вот токо плётка-двухвоска, знашь, свистит-ходит – ходит-свистит. И Томка то в одном углу взвоят, а то в другом. Скачет, знашь. А тятка – приговариват:

– ...Я тттебе дддам – туда-суды-пояс. Я тттебе дддам – туды-суды-пояс.

Эх! Снохи-то все – в слёзы. А подходить боятся: издаля тонё-о-охонько плачут:

– Тя-а-тк!.. Нам Томку жалко!.. Не бей, тятк!.. Тятенька, прости ёво Христа ради!..

Ну: и робятки – разревелись за матерями, все как есть:

– Дедынька, любименькай! Не нады... – плачут-утираются.

А там – сё:

– Вот тебе – туды! Вот тебе – суды!.. И вот тебе – пояс!

Токо маманька Овдокея, правды, молчит. Прямая, как верста, спереди всех сделалась! Руки-то на груди скрестила. И лицо у ней тёмно стало – как земля. Лицо – земля-землэй, а – молчит: одна токо за Томку не просит.

И снохи – уж в голос со двора-то голосят. Плачут в голос – заходятся:

– Тятък! Не бей – пожалей ёво!.. Тятенька, миленькай – он чай больше так не будет!.. Хватит! Тятък!..

Томка – все углы белёны обтёр, душегрейкой-то своей. По мазанке бегат-закрываются, да на бегу подскакывают-винится:

– Тятък! Прости, что ль!.. Тятък! Чай, уж я сказал – не буду!.. Прости Христа ради!..

А там сё, в мазанке-то, без жалёв:

– Вот тттебе – туды-суды-пояс! Вот тебе – туды-суды-пояс!

И уж он, Томка, на коленки перед тятенькой там упал-повергси – на пол грянулси:

– ...Срроду больше так николи не сдельню!!!

И вот токо тут тятенька ище раз двухвоской уж по полу жажнул и – ладно: щеколда – звяк-бряк...

Выходит тятка. Нахмурилси на всех – страшнай, да маманьке-то – про снох:

– Эт что на стол не собирают, во дворе прохлаждаются? Май-месяц, что ль? Вы ёво с дороги кормить-то думаете-нет? – да и ушёл на омшанник.

Баит:

–...Погляжу, как пчёлы укрыты. Пенька три, вроде, стары больно. Може, к весне новы их, пеньки, ладить нады. Без меня обедайте. Погляжу.

Да и пошёл со двора-то – в лес, на Лунёву гору.

А детям всем мимоходом пригрозилси всё жа:

– А вы живите, а зря-то – не делайте. Вот оно – как зря-то делать.

Ну, Томка с той поры шолковой уж стал. Один-то ездить – зарёкси. Уж больше – не рысковал. То меня просит:

– Поехали, Васятк! Съездим, что ль?

– Чай, ты как один любил – торговать-то! А я ведь вон драгву готовлю – варом наладилси натирать. Валенки всем кряду потолще подшивать собралси. Их ведь – двадцать пять пар: маненьких детских – да большэх сколь...

– Може, вернёмси – вдвоём подошьём? – уж уговариват, знашь.

– Чово жа – запрягай, Томк! Приберусь токо, пойду. А то уж я шилы-ножи да стары голенищи в мазанке разложил... Поедем!

Ну и едем, знашь.

А то – Вашку просит:

– Вашк! Айда-ка со мной! Я что-то один и не хочу...

Ну и Вашка – смотришь, хочет-не хочет – собиратся.

– Томке на базаре подмогу, – баит. – Он на себя и не надеется что-то... Ты уж, Васятк, мое лубки в Становским-то пруду сам, что ль, обдери? Я ведь их ище когда мочить-то заложил. Лыко-то кабы не почернело. А то в баню мочалки уж пожоше нады. Лукошки новеньки, приеду – сам сплѣту: бабѣнкам я обещалси-посулил. Оне со старыми по лесу ходить-то и не хотят. Боятся больно, кабы грибы не обиделись – в старых-то лукошках лежать! Сплѣту – уж приеду.

Ну и я:

– Ладно, Вашк. Завтри с Иваном Исавым вместе сходим. Да вместе обдерѣм. Он ведь тожа лубки мочить клал. Ежжяйте вы, не тужите...

И токо Ивана нашего, знашь, не просил. Иван – старшай, и уж вместо тятеньки много делов дома, по хозяйству вѣл да по лесу. Чай, вся скотина в сарае – завсегда на Иване в перву очередь была. Три коровы – да лошади четыре, да мерин, да коз пуховых сѣ пять-шесть, да ярков-баранов десяток цельнай бегат... Сколь токо сена одного Иван вилами за день перетутушкат – навильник-то за навильником. А мы уж так – подменям, бывало. Как Иван – в лес, мы и подменям скорей: подхватывам...

Вот ведь оно как! А ище ба маненько, разок да другой, ну – и не удержалси-ба, Томка-то. И понесло бы ёво – по кривой путе. И незнай ба, до какех пор он догулялси ба на базарах, лебедик: може – и до пыдзабору. Вот, бабѣнки непутны и подбирали ба ёво из лужов-то, вылавливали ба нарасхват, да к себе ба тащили, скорей-скорей, покудова он ни тяти ни мамы не помнит, знашь. Оне ведь, непутны, уж себя потеряли. И сами приголубют-обогреют – и сами ище любому мужичку рюмку поставют-нальют. Свово винца нальют – токо ба он с ними, с негодящими, сидел ба да пил: не горды...

Вот ведь как Томка-то у нас – чуток не сбалвылси!.. Тятка-то – не дал наш.

И уж Томку с того часу никто сроду не попрекнул – ни в глаза, ни за глаза: мол, все роботали – а ты что жа один, лебедик, воз общей-то прогулял да прокутил? Жалели уж – попрекать-то... Ну, токо с той самой поры все Лунёвы, чуть что, про эдаких-то – сразу говорят. Как токо слышут – кто проштрафилси, а сам мнѣтся да

трётся, да и не вывернется, не оправдаться никак – сразу уж все Лунёвы в один голос смеются. Руками машут. Бают:

– Э-э-э! Это ведь – Туды-Суды-Пояс!..

И вот, не запылал ба наш дом в одночасье со всем добром – може, так ба на семьи-то мы и не разбились. Не разбились ба – не разделились незнай до кой поры, и своей семьёй – не пожили ба. Ну – нещасье всех развело. Их, нещасьев-то, уж сколь друг за дружкой гужом пошло! Как царь весь народ-от свой взял да бросил. Кинул-отрёкси... Да как на красных да белых распад середь людей сделалси.

И как было? Вот красны-чужэя в какое село взойдут – и ну по дворам мужиков в отряды свое мести, лошадей-коней середь бела дня отымать, из сараев под ружьём к себе гнать. А там белы всходят – мужиков по избам записывают: айда-ка в бой, ты нам годисси... Что те в русских стреляют – что эти русских бьют!

Все как есть наши мужики самостоятельны, оне в Лунёве друг в дружку стрелять – разделяться на красных-белых – не хотели. И сразу, как чужэя всходят, – лесом-лесом, да горой, да Сухем долом семь вёрст отмахают – в городки. Видала, чай, – два валуна-то высоки там лежат? Как две горы – над ельником-то висят. И каждая гора – цельного камню, знашь, единого из ельника выступат: городки! Вот. А под ними – лазы ведь глыбоки. Пещеры тёмны – без конца-без краю. Которы старики бают – ажно к Царёву кургану оне вёдут! Пещеры. И в Волгу, в берег, из-под камней тама выходят...

Ну, в наше время никто уж под землёй туды, к Волге, больно-то не стремилси. А вот как в Иргизски монастыри самы тайны, подземны, ходы-то из-под городков вёдут – эт уж все потихоньку в Лунёве сроду знают. Все ходы тама, знашь, с коих пор исхожены – и все повороты...

Вот Пошонцовы братовья, Надёнкины деды два, туды сё ходили – по пещерам да к Иргизу. И уж тама, в монастырях-то в подземных, молились, бывало. Запоминали – ученье-то исконно русско. А уж возвернутся – передают. Да тайком всем толкуют: крамола римска, ерманска-венецианска давно ведь портит Афон-от поманеньку: кой-где – проникат всё жа! А от Афону – уж через Польшу-Малороссию – и нас сё прохватыват, крамола-то иха: берегитесь! Оттудова – ослабление веры с какех уж пор идёт, и дальше – больше токо оно будет. А как веры сильной и здесь уж, на Волге, не останется и как истинны молельщики за весь род людской токо последни здесь перемерут – то конец уж всему свету и наступит! Да.

Вот оне вёрнутся, деды Пошонцовы два, – и сказывают всем лунёвским: в точность как святые пра-отцы наши сроду сами себя хранили – вот эдак вот обычай чистой русской соблюдать нам в монастырях-то велели и эдак жа себя для Бога чисто

сохранять. Чисто – да неукоснённо... Вот люди-то, бывало, и стараются – по строгому правилу живут.

Как, знашь, Романовы-немцы на русском престоле сели, и как русски токо цари все кончились, вот истинно русску веру нашу настоящу Алексей Михалыч – немец-царь – под землю и загнал. Русской ведь веры – Иргизски-то монастыри сроду! Веками уж службы под землёй служили, по неиспорченному, знашь, чину – отцовскому-прежнему...

Из них, из Романовых, один токо Филарет, покудова живой был, русской веры держалси всё жа: другея-то уж – видимость токо такую делали. А Михаил-то, сын-от, – сё вроде крепилси, знашь. Крепилси-крепилси – а под конец и сбалвалси: немецка кровь в нём пересилила. Чай, однех токо голштинцев сколь в Россею созвал – торговать-богатеть! Русских-то как прижимал-теснил – а их больно любил... И Алексея своо он, Михаил, уж по немецкому, по своему, сё подучивал. Да. А дальше-то – и пошло: нерусско всё правленье вверху, над Россеей-матушкой всей, пошло...

И такую моду оне в Россее ввели и всё время её, моду эту, при себе держали – Романовы: пускай навозно – зато привозно!.. Народ-от русской сё им снизу и кивал: ладно да ладно – токо от нас отстаньте. А сам навозным-то-привозным-то – брезговал сроду, знашь, народ-от. И себя тайком – от навозного-то-привозного – уж сроду хранил! Хранил-берёг.

И нову веру оне, Романовы, через Никона сделали – онемеченну маненько: под римской манер да под венецианску крамолу. Ну – не до конца всё жа: чай и в новой-то вере умны русски батюшки кой-чово из старой веры тайком сберегли всё жа. Сохранили-сберегли... Да.

Романовски предки, оне ведь, двое братовъёв, из Прусской земли – в Россею-то матушку к нам заявили! Оттудова вышли... И на русских скорей оженились – а прусско-то своё николи уж не забывали! Вот, оне и правили – Россею нашу сё под Пруссию силком подгоняли. И немцы-то Романовы, знашь, сверху на троне сели – а русску веру прежню всю под землю загнали. И под городками оно ведь, Лунёво, ище от Никона скрывалось! Когда Никон русску веру всю казнил – Романовым сё угождал.

Антихрист-то ёво, Никона, обуял – да и велел ёму всех за веру отцовску жечь-пытать да убивать. Чтоб уж весь ба народ западны крамолы принимать наперёд ба – училси. И их без остановки – наперегонки ба принимал. И чтоб каждой русской изменник – русского ба каждого неизменника – убил! Так антихрист-то ёму, Никону, велел-нашаптывал...

Чай, всё ведь это уж было – ище Никон русских на русских натравлял, чтоб русски-то русских везде били!

Вот, по всей Волге люди под землю и уходили! Земля, знашь, сроду от брато-убивства нас и спасала... От брато-убивства – да от измены, знашь. По Северу, по Сибири – там леса дремучи русских-то от измены спасали-скрывали. А нас, вдоль Волги, – земля. Земля прятала. И все наши пра-прадеды как ведь сроду баяли? Живи, пока Москва не видит: Москва увидит – жить не даст!..

Ну, и красны в Лунёво нагрянули – щас все мужики в те пещеры, лесом-лесом – да под городки и скрылись: чтоба, знашь, зла меж собой не делать, ёво не множить ба. А белы на околице завиднелись – мы уж опять узлы похватали, да огородами, да горой, да под землёй и пропали: нету мужиков-то никого.

Красны, знашь, – смутьяны-безбожники? Нам с ними делать нечего. С ними – грех: антихристово племя... А белы-то – уж без царя всякого. У них уж немецкого царя – и то не осталось: он, Николай-то Второй, на русской трон рукой махнул да антихристу на милость и сдалси. И за кого, за каку-таку белу власть, оне, белы, воюют – мы ведь её, эту власть, не знам. А кто у них заместо царя – оне и сами ище не понимают: може и немец какой опять на трон от них вскочит – ай може кто ище хуже. Так, впустую, воюют – пёс знат, за кого...

А антихрист – он сильно ведь опять добивалси! Вот чтоб на красны да белы мы ба тут, православны, в Лунёве, тожа разбились ба – ну и сами себя поубивали ба скорей насмерть, своими руками, один – другого. Он так добивалси-хотел... Всё Лунёво – оно поперёк ёму, антихристу, сроду шло! Ну и тут, знамо дело, решили: не разбиваться!

И Миканор Иваныч всем на сходке велел:

– Разбивку середь русских людей, в точность как наши пра-отцы тута сроду не допускали, её – не делать! Грех. Грех смертной и народу – последня погибель. Мир, – баял, – стоит до рати. А рать – до мира. Вот, до мира пускай городки нас прячут. Не в первой раз.

Ну, люди-то – все тожа: сразу раскусили. Чай, не дураки.

– Э-э-э! Дело знакомо! – сразу раскусили. – Эт ведь, как при Никоне, опять хотят, чтоб мы друг дружку ба – били! Старо дело-то – в которой раз затёвают! Антихристово.

– Ну уж – нет! – сказали. – Сызнова под землю пора.

– Правильно! – сказали. – А дальше – там развиднется.



И тятенька дома за ужином эдак же нам строго всем наказал:

– Погибать будем, а русску кровь – ничью не прольём! Грех. И в заводе у нас этого не было и – не будет!

И уходило нас в городки, в пещеры, гляди-ка, до тыщи ажно мужиков: ищё, знашь, из другех сёл прибежали кой-которы и от вербовки всякой, белой-красной, – скрывались...

Бабёнки сё еду нам таскали. Семь вёрст, знашь, лесом в ночь украдкой бёгут, да – в гору, да – в гору! Днём идти – власти чужэя, красны-белы, увидют-выследют. И нам – Ивану, Вашке, мне да Томке, – узлы-то Надёнка с Шуронькой на плечах носили.

Дарья, знашь, третьим робёночком тижёла была. А Нютонька – она чово? Боялась больно. Как токо ветка под ногой треснет-хряснет, да как выпь лешему гукнет-бухнет разок-другой – ну: и Нютонька наша тут жа, на месте, со страху помират-стоит, крестится – и на землю сидеть садится. С ней ведь в лесу в тёмным – намучисси отхаживать. Отхаживать-подымать... Вот, Надёнка с Шуронькой, бывало, бояться-не бояться, а вдвоём токо ночью с узлами и бёгут, в деревьях прячутся. Проворны обе да скоры. И в лаз середь ночи сё – крикнут:

– К Лунёвым мы пришли! Васятк! Вашк! Просыпайтесь...

Ну. На костерке крупы в ведре, бывало, сварим да вместе под деревом, под дубом, похлеbam скорей. Им, бабёнкам, до свету в Лунёво вернуться нады – хлебают, торопятся-турятся... Там ведь и родничок из-под камней бил-звенел – как слёзка, чистой, знашь. Маненькай костерок токо чуть-чуть жгли – чтоб дыму-свету большого в лесу не было ба.

Вот и спасались. Уж смерто-убивства на душу – слава Господу: не взяли. Как пра-пра-деды наши сроду не брали, и мы – так жа. Да...

А там, как время подошло, чье-небудь бабёнки опять прибегут да в лаз и кричат:

– Айдайте, мужики, домой по одному – отряды-то ускакали. Уж в другом месте оне. Окыл Сызрану – русски-то русских бьют! Токо упал-намочены в конторе сидят-остались: опохмеляются!..

Ну, народ-от и появятся потихоньку, во дворах своих. Робяткам ищё по солоцкому корешку дорогой-то выкопам:

– Заяц вам прислал. И с поклоном от нёво отдать наказывал. Держите!

Оне, робятки, и ходют все по Лунёву – корешки свежи посасывают: он сладенькай, солоцкай-то корень... А мы роботу сразу бегом роботам. Скорей-скорей. Руками да горбом. Безлошадны уж все стали. Были, знашь, гужи ремённы – а и мочальны не понадобились... И по земле большой уж разор идёт по всей. Разор-нужда. Как царь-то от Россеи взял да отрёкси. Ну, он – чово? Романов: нерусскай-ненадёжной. Отрёкси, знамо дело...

С нашего села пьяницы ведь одне, самы негодящи, в красны подались: все токо – Тор, да Ёр, да Перетыка... Лунёво – оно богато сроду было: самостоятельно-зажитошно. Роботали все, знашь. А бездельников-то, тех – четверо токо, пьяниц-горлапанов, и набралось! Да с ними – Клавка ещё Косая, девка порчена-гуляща, косынкой красной убвязалась: начальник у них сделалась – блудница.

А ведь – на смеху сё с девчонков была. У ней уж титьки из пазухи лезут, а она, бывало, в лапту ище, как маненька, играт да с собаками по лужайке кувыркатся... Народ-от весь на неё дивилси – что за девка чудная растёт? Ей ба дома с пальцами сидеть – к приданому цветки-узоры шить-вышивать. А она во взлягашки с маненькими, с ватагой, по улице босиком бегат-скачет, да ночью, как шишига, скрозь пальцы в кустах свистит-ходит.

И про того дурака, которай на ней оженится – так сё люди-то калякали:

– Знать уж, – калякали, – кто-то на банный угол молится – не перестает!

Сё головами люди-то качали:

– Ну-у, у Косых – беду девка-то клочет...

И вот городки – никто ведь, ни единай человек, властям чужэм, белым-красным, – так и не выдал!.. Чай, и Клавка Косая с девчонков, поди-кось, знала – про городки-то. И сама их с ватагой, поди-кось, облазила сто разов. А вот – не открылась, новым хозявам-то своем самарским красным. Беспутна-гуляща – а и та: не проболталась... И все пьяницы наши приежжим – дорогу не показали, и совесть свою – не до конца пропили!

На тем свете, чай, Бог много грехов с ихих душ за одно токо за это – снял, поди-ка. Снял – простил. Да... А мы ведь и по месяцу, бывало, в пещерах сидим, покудова бесово сутолпище всё поверху не улягется. Там – сухо: песок... Сидели.

Вот, начальники красны в Самаре наше всё Лунёво за это и не любили. Вербовка середь нас не ладится-не получатся, знашь! И что такое – некак оне нас меж собой не стравют! Не стравют-не столкнут... Оне уж потом и лютовали. Лютовали. Отыгрывались, знашь... Галчины затылки.

И красны все в Лунёво присланы были – незнай откуда: странни какие-то. Городскиея, что ль? Своих-то – кот наплакал: не набралось. И приежжи токо всю партейну власть вместе с Клавкой Косой и повели. Им из Самары сё депеши слали и оттудова учили, как всех мужиков, хозяй хороших-справных, изводить – и, раз так, до смерти уж всех кряду разорять. Без жалёв, знашь! И чтоб духу нашего тут, по Волге, уж не оставалось ба! Хатаевич-жидовин в Самаре над Волгой сел – и лютовал, приказывал оттудова день и ночь: русского духу больно не терпел. И у галчиных затылков начальник он повсеместнай был. Повсеместнай-заглавной.

Вот – запомни! Сколь живая будешь – столь и помни. Николи уж не забывай: Хатаевич – фамилья... Да. А оне – Клавка да конторски – всё сполняли, как он им из Самары велел, и ёму, жидовину – служили: роботали, знашь. Уж старались: дёваться некуды, как их горка-то вышла...

И поле, наше сроду, в колхоз отобрали. Сеялки-плуги-бороны – всё свезли. И пасеку разворотили-разломали – соты инда с рамами в контору-то упёрли... Там и пчёл-то ведь мало оставалось: рои разлетелись, кто куды. Одичали, знашь. Догляду хорошего давно не было – одичали.

А про лес наш – и не калякаю! Вон, гляди, какой клин-от шёл сосновой, на сколь вёрст – там кончалси. И уж по леву руку, по просеке, Радищевской лес начиналси. А по праву руку – Воронцова-Дашкова лес... Ну, наш лес – он на пях ведь был: на три хозяина. Крестьянской. По-первости – на два, а там уж и Миканор Иваныч в пай взошёл. Да... Сколь годов этот лес-то мы берегли. По Волге сплавлять да продавать – не больно торопились, пайщики: пускай растёт! Ище рано!.. Добереглись.

И вот, нова власть хлеб у нас из анбара каменного выгребла – до шелухи, до мучной пыли, знашь. И мы как в Лунёве все думали-считали? Чай, и оне – люди всё жа: не звери! Уж сколь-небудь-то на семьи – ай уж в анбарах не оставют? Ну, не половину, може – треть. А не треть – хоть четверть, что ль! Нет. Солдат из Самары приказом нагнали – как саранчи: видимо-невидимо. Лари с гречкой да пошоном где токо по сеням-чуланам в избах-в домах стояли, большея-маненьки – их до дна, все как есть, и то опорожнили. Упал-намочены... Да в зиму, знашь!..

И хорошо ище – закопаны были семь пудов пошеницы! А где? Тятенька-то наладилси пошеничку закопать про чорнай самай день в сарае сенном. Уж всем ясней ясного было: дешевизна – перед дороговизной, а дороговизна – перед бедой! Запас чини!.. И он собиралси – в сарае. А маманька-то Овдокея – нет: пересилила. Пальцем ткнула.

– Здеся,– баит, – яму копай! На самым на виду.

Да под воротыми прям – место-то указала! На тропе – под стопой! Как во двор шагнёшь – тута.

Тятенька удивилси больно, знашь. А потом её и послушал, маманьку Овдокею.

Ну и что ты думаешь? Изымать-то как опять, в которой уж раз, пришли – первым делом весь сеной сарай штыками своими истыкали. Где штык легко сам в землю пошёл – щас там оне копают, бёгут.

И вот, все пять семей наши во дворе стоят. И с груднэми на руках – все снохи-то стоят. Маманька Овдокея теперь про робяток-то и спрашивает:

– А их чем в зиму кормить? Всё ведь вы уж заграбастали! Пустэя мы! Ай нам помирать? Ай уж на вас и креста нету?

– Креста на нас – нету! – старшай-то, стрижена губа, инда огрызнулси: окрысилси, знашь. – Не надейси!.. Нет ёво на нас – и не будет!

Маманька и замолчала: оне и не христианы пришли, а незнай уж кто... И по подловке лазинут, и в тороне на карачках ползуют, и в огороде землю – тыкают. И уж видать их сразу: чай, оне по самарской-то депеше – воробья в поле замотают.

Ну, излазили всё вдоль да поперёк, а – не уходят. Мнутся-трутся. И старшай-то, знашь, стрижена губа – скоблёна борода, баит:

– Погодите! Не может того быть, чтоб в таком крепким хозяйстве зерно ба от властей не спрятали ба. Ищите лучше!

И к детишкам сё к нашим подойдёт – да рядом на корточки и подсаживатся:

– Где пошеничку тятка ваш спрятал? Кто нам скажет – тот молодец умнай! Тому револьверт подержать вот этот вот дам! Ну-ка, кто первой?

У взрослых, у большэх, и сердце, знашь сё оборвётся.

Ну, робятки – все уж научены:

– Не знам ничово! – утвечают. – Не наше дело.

А Вашкин Вахорка, маненькай-пятилетняй, в сторонке стоит да пищалкой пищит. Игрят, знашь. Старшай-то, губа стрижена, щас же – к нёму:

– Эх! Как ты хорошо на пищалке играшь! Вот ты, наверно, всех лучше и знашь, где зерно-то. Скажи-ка мне скорее! Где оно?

А Вахорка – ёму:

– У Жучки под хвостом! – баит. Да и дальше играт-пищит.

Мы все, как есть, обмерли-обомлели. Шуронька-то – мать, стоит – не дышит. Сама белёхонька – инда вёснушки все подчернели. Не дышит-не шелохнется.

А старшай, гололицай, рукой махат-досадыват: незнай чово робёнок городит! Да опять:

– Ты мне по правде скажи! – пищалку-то у нёво из роту выдёргыват. – На-ка тебе за это револьверт, поддержи маненько!

А Вахорка – не больно: сызнава – за пищалку свою. Уж мы все в роду, и дети наши, так с пелёнков учёны: чужого в руки – николи не брать. И ище пра-дедушка Фанасий наш с печки, бывало, старенькай говорил:

– Со слезами будут уговаривать, плакать будут – давать: «Чай уж возьми добра нашего задарма!» А ты плачь – да не бери! Плачь – да не бери!.. Свяжисси – не рад будешь.

Ну, Вахорка на револьверт чужой, знашь, и не глядит. Сызнава пищит-играт.

– Да ты, наверно, глупай. Голова-то у тебя – не роботат! – уж нарошно Вахорку нашего приежжий-то злит-раздразняет. – Не помнишь, где зерно!

А он:

– ...У Жучки под хвостом! – баит, да опять отворачиватся-пищит.

Ну, тот с досады-то и плюнул:

– Айдайте! Дома у них нет ничово – эт уж где-небудь в другом месте спрятано. Ну – мы выследим, сё одно отымем! А за укрывательство – судом расстрелям! – баит.

Да и провалились всем гамузом – со двора-то с нашего.

Мы, не живы-не мёртвы, ворота скорей затворили:

– ...Вахорк! Да зачем жа ты им открылси? А если ба оне догадались-дозеврились?

Собака, знашь, наша – Жучка на тем месте закопаным у ворот и сидела. Вот Вахорка-то и твердил. Утямилси: у Жучки под хвостом... Чай, потом уж – смеялись. После время.

И оставили нам на пять семей одну-разъедину токо коровёнку – как на один, посчитали, дом. А и на ту уж корму-то нету – всё сено отняли. В сарае – былки единой, и той не найдёшь. Не найдёшь-не подцепишь. И ползимы мы кой-как

перебились: корову – под нож. Да пошеничку выкапывали, с лебедой мешали-тёрли – с древесной корой. Ну что там её, пошеницы, – сто двенадцать килограмм по нынешнему, на эдаку ораву! Да мужики-то – больно росли, знашь, здоровы. Нас ведь – и не накормишь...

Вот, золотишко всё бабье когда из дому и разлетелось – Дарья в Сызран ездила. На одне чье-небудь серёжки – кусок сала привезёт. А на колечко какое чье обрубально – буханку хлеба выменяет.

Вот, кто-то ёво щас, поди-кось, носит – золотишко-то лунёвско. Каке-то бабы чужэя – на пальцы да в уши надёвают, чай. Перед зеркалом-то стоят...

А у Надёнки осталси – один токо перстенёк оловянной-простенькай. Которай я ей ище в парнишках, не больно взрослай, на ярманке купил, с синеньким-то глазком... Оловянной-копеешной – никому уж не нужнай. Ёво один, оловянной-то, не проешь... Он токо – осталси. Да.

И хорошо – маманька Овдокея, словечка никому не сказала, а сама узолки маненьки с просом, по фунту-по два, втихомолку рассовала-успела! То в стары валенки, то в сапоги рваны, которы в мазанке лежат, то в карманы-в польты, то в подкладки какея. Их и набралось, маненьких-то узолков потом, пуда три некак!.. Глядишь, бывало – в дому шаром покати! А маманька – сё одно: каждому просяной каши ложки по две и положит!

...Помирать-то мы, Лунёвы, уж потом – позднее стали. Ну – эту зиму, чуть живэя, а кой-как – иззимовали...

И вот ведь – чудо-то было! Как галчины затылки в Самаре уж в полну свою силу взошли – зачили по всёму, знашь, Лунёву собаки при полной луне на снегу воем выть! По всем дворам кряду. Ночь воют – день воют. Другой день, да третий... Без перерыву! И люди знать-не знали – а уж собаки по дворам всё загодя и учуяли. Как раз – вперёд за две недели!

И день – воют, и ночь – воют. Волосы дыбом, знашь, встают! Маманька наша Овдокея тогда тятеньке и сказала – в большом-то дому, помню:

– Ну – будет дело, Иван... Ночной собачий вой – к покойнику. А дневной собачий вой – уж на вечнай покой...

Миканор Иваныч, брат её, придёт – и вот оне втроём до свету сё калякают, потихоньку в потёмках сидят. Карасину уж не было – лампу-то не вздували... И собаки токо по всёму Лунёву из краю в край завывают – спасу никакого нет, да луна полна во все окны поверх занавесков бьёт-слепит. Светит, по глазам-то бьёт, знашь...

А оне, старики, – так и сидят: сё калякают... И наша Жучка со двора тогда вот пропала что-то – смерть что ль где свою нашла? Пропала что-то. Да...

И раз маманька Овдокея с утра и говорит:

– На могилки нынче все пойдём на наши. Надёвайте всё, что есть, наилучше потепле – мороз. Давайте сходим – и со всеми детьми. Давайте-давайте... А то на родетельску субботу на могилках наших не были – грех! Все нынче пойдём – и всех покойников с робяткими всеми попроведам. Помолимси.

А тятенька в зиму прихворнул маненько. Ну, глядим – и он с печки слазит:

– Нады! – баит. – Давно уж не были. Не хорошо.

Ладно. Всех нас маманька переполошила-сгрудила, за ворота вывела – сама пол-улицы не прошла, да схватилась:

– Э-э! Ступайте-ка одне потихоньку – я дверь, кажись, кой-как притворила: ладом не заперла! Дом-от выстудим...

Шуронька теперь кинулась:

– Чай, я поскорей сбегью! Щас же хорошень затворю!

А она, маманька, ище ногой-то – топнула-рассердилась:

– Сказала – ступайте! Догоню.

И всё село наскрозь мы прошли, и от тихого ходу с детьми перемерзли. Что такое – её сё нету, и нету, и опять нету. Ну, на взгорке, уж на могилки заходить, стоим-ждём, где буквы как раз – «Мы были как вы – вы будете как мы». В воротах, считай. И тятенька с нами, бледнай-хворай, ждёт. Глядим – бежит маманька. Да что-то шибко больно. Турится. И – сердита.

Надёнка-то глянула:

– Мамань! Ты что какая чорна как уголь? Плохо что ль с сердцем тебе – ай что? Ты уж не бегла ба так... – жалет её, знашь, да на руках Саню грудного в удеялке держит-качат.

А маманька скрозь нас скрозь всех прошла молчком и – дальше. Шагу, знашь, не сбавила. И токо через спину всем нам баит-шагат:

– Что встали-застыли, как мёртвы? Айдате.

Нютонька-то домой просится:

– Давайте-ка вернёмся! А то я и шаль накрывную тёплу дома забыла. Холодно как! Мы уж и так щёки изморозили! Дети-то захворают – домой все хотят! Да собачищи больно страшно воют – тоску-то наводят. Я уж и могилков-то боюсь!

А маманька Овдокея вперёд всех, прямая, знай шагат. Да и ругатся-сердится:

– Айдайте, раз пошли! А то путе нам уж – не будет.

Ну – мы, мужики, токо, знай, молчим. Пустое-то не городим. И Дарья, помню, крепко-крепко молчит!.. Ну и все – за маманькой, с детьми, инда не поспевам: бежит маманька уж далёко – меж крестов. А тут слышим – что такое? От избы от крайней, в ней Фёдор-пастух ище жил:

– Пожар! Пожар! Вон как горит кто-то! Страшной какой – пожар-от! До небу!

Кричат, знашь, на околице, во дворах промеж собой.

И Надёнка оглядывается, отстаёт. Да Иван не идёт никак что-то. Васеньку большенького на руках держит – так в воротах и стоит.

А там уж – по улице-то по всей:

– Пожар! – кричат.

– Эх, вроде – рядом с нами дым сильнай... – Иван-от нам из ворот рукой махат.  
– Тятък! Погляди-кось...

Ну, тут уж и Надёнка-то – в крик:

– Батюшки-светы! Мы, никак, горим...

И тятенька с тропы пригляделси:

– Стой, Овдокея! – баит. – Стой.

Мы и побегли с Иваном к дому – какея тут могилки! Детей с рук на снег поставили – побегли. И Вашка с Томкой за нами топыют-бёгут.

Ну – оно беги-не беги: дом-от – на другом конце... Подбегли – народ стоит, со всех сторон, знашь. Толпой. И тихо-о-о – все обмерли быдто, стоят. Огонь токо гудит – в небо весь летит, вверх бьётся-рвётся.

День морознай, с ветерком – а он, дом-от наш, как свечка, горит-полыхат. И треск, знашь, сильнай... Пламя-то всё – столбом вверх летит-гудит... Куды там – к нёму, к дому, и не подойдёшь. Не подойдёшь-не подступисси... Жаром лицо щас жа схватыват: глаза не терпят – как жгёт.



Томка, правды, сё в горячках-то кидалси. Вынести, что ль, чово хотел-норовил? Уж люди всемером держали, да Иван с Вашкой – Томку нашего. И то что сладили. Сгорел ба! Живой не вышел ба...

А бабёнки прибегли с маманькой-то Овдокеей – там и потолок упал-рухнул. Стропилы уж рассыпались-завалились. Вот тебе и дом...

И Нютонька теперь в голос плачет-причитат:

– Да что вы все стоите как мёртвы?! Ведры, ведры-ти в мазанке – что чай вы их не взяли, не залили?

А рази ёво ведрыми, такой пожар, после время зальёшь? Дом-от, со всех сторон быдто, занялси.

И Шуронька – больно плакала. Дарья с Надёнкой её, Шуроньку, уж под руки увели – к забору: как токо она убивалась! В чужэм-то дому, знашь, в мачехиным досыта нажилась – уж убивалась...

Я вот что-то и не помню – тятенька-то когда подошёл-встал? Сколь вспоминаю, а – не помню. Вот, как он подошёл да перед пожаром-то как встал-стоял?.. И как маманька Овдокея вперёд всех вышла, как щас вижу: руки-то перед огнём на груди скрестила – не сморгнула, знашь! А про тятеньку – отшибло быдто: и не помню что-то. Незнай...

И хорошо ище – ветер от мазанки как раз был: у мазанки и крыша тесова не подпалилась. Уцелела...

Ну: сели мы в мазанке этой на лавки – Миканор Иваныч на пожар-то подошёл.

– Айдайте все к нам, – баит, – ночевать.

Тятенька – инда восковой, застыл: не слышит. Вой собачий токо один слушат – как ёво не касатся. И дети на холодной печке молчат-сидят, прижались.

А маманька Овдокея – и не плачет, знашь.

– Щас, Миканор, пойдём! – баит. – Токо сперва уж давайте решим: кому где жить теперя. Отец. Давай решай.

Тятенька от окошка-то и не повернулси: зови-не зови.

Мы с Иваном, знашь, переглядывамси – старши.

– ...Жребий нады кидать! – баим. – Жребий.

И Миканор Иваныч, маманькин-то брат родной, сказал:

– Жребий, знамо.

Ну, и стали жребий из спичков тянуть. Большая спичка – мазанка. Поменьше – анбар каменной холодной на задах. Третья спичка – баня. А четвёрта – сторожка маненька, на омшаннике котора, в лесу.

Иван первой тянул – им, Ивановой семье, и выпало: в сторожку с Дарьей, в лес, идти. Я, второй, из маманькиной-то руки тяну-потяну – да большую, лучше всех, и вытянул: мазанку, знашь! Тут оно – и печка большая, и ухожена она – мазанка... Вашке с Шуронькой – баня на задах досталась. А Томке да Нютоньке – уж анбар каменной-холодной.

– Эх!!! – маманька-то теперь вскочила. – Не так! А нады – вот как. Мы, старики, – в мазанке. А с собой – Томку, как младшего, оставляю. Жребий уж теперь – не считается!

А Миканор-то Иваныч как глянул на неё, на сёстру-то свою, из-под бровей, знашь. Да пальцем ей, помню, и погрозил:

– Овдокея-а-а!.. Не мудруй.

Да и осёк её, маманьку нашу:

– Не мудруй.

Она и присела. А то – больно ей не хотелось. Чтоб мазанка-то нам с Надёнкой отошла.

Она, знашь, маманька – к тятеньке было опять:

– Отец, да ты что теперь молчишь – не скажешь, как добро-то нам после пожару делить? Так что ль – ай не так?

А тятенька – токо:

–...Всяко добро – прах.

Так от окошка-то сказал:

– Всяко добро – прах.

И не повернулси...

Тут уж Надёнка, правды, баит:

– Чай, с нами, мамань, с тятенькой живите! Сё одно она ваша, мазанка. В ней – вы хозявы. Куды вам – в анбар что ль? Куды вам – в баню, куды – в сторожку? Тама чай и не прилажено. А покудова все по своем местам обустроются, да печку в анбаре

покудова сладют – уж в мазанке вместе с детьми нетрог все тута, в тепле, и живут гуртом.

Ну – и успокоила всех маненько, знашь. Миканор Иваныч Надёнке-то и сказал тогда:

– Вот. Правильно.

И Томка наш сказал:

– Жребий – он есть: жребий.

И Вашка:

– Ладно, – баит. – Проживём. А там – чай выстроимси как-небудь!

И уж Иван – тожа: после всех под конец сказал:

– Так – так так. Перетакивать – не будем.

Тятенька один – молчал токо...

И на другой день, под собачий-то вой кромешнай, разделили мы всё старьё, которо в мазанке сроду складывали-кидали, – польты выношенны, шапки облезлы, подстилки стары, половики страшны да удеялки, которы свалялись. Да столы-стульи-табуретки сломаны в углу свалены были – их поделили. Ну и носили старьё-то каждой к себе – Иван, Вашка да Томка. Носили по снегу – сё мимо пустого места. Мимо углей черных да мимо золы... Мимо головяшков, знашь...

Я уж им – и не подмогал. Скорей печь обгорелу во дворе разбирать стал. Томке на кирпичи. Лом взял – да кладку зачил разбивать. Больно страшна да черна она, печь-то наша, перед глазами, прям под небом, одна стоит... Страшна-черна... Из старых ведь наших кирпичей – печку-то в анбаре в Томкиным все вместе клали!

И уж сроду на тем месте на горелом – не сажали. Инда ноги, знашь, не йдут – вскапывать ёво, место избяное. Вскопывать, сажать... Да. Так – бурьян один тама поднялси-стоит. Бурьян вырос, понизу переплёлси весь – как войлок. Как войлок, сбилси – как колтун...

И вот мы, Лунёвы, – уж не зажитошны, а бедней бедных сразу мы сделались, и уж голей гороху оказались: беднота!

...Самы бедны изо всех сразу и стали.

А собаки, знашь, сё воют, как с ума по дворам-то посходили! Воют – инда надсаживаются... Ну и раз, под утром, по всему по Лунёву к собачьему-то вою уж

людской – человечий прибавилси. Да всё и перекрыл. Инда восемь отрядов из Самары перед утром, до свету, на нас и наслали!

Никто ведь и не слыхал. Какая тут городки?.. Спали. А уж оцеплено Лунёво-то было...

По всем хорошим домам с винтовками, с четырёх концов, потемну оне шли! Двести шоснадцать мужиков в Харитонову балку по списку отвели – тут жа. До свету их и расстреляли. Ище не больно развиднелось – расстреляли. Из домов сонных поднимали, руки сразу – на верёвку, на узол. В исподнем на мороз взашей вытолкали. Босиком... Как кулацкай элемент. Бумагу такую самарску бегом в балке им зачитали.

Да. Уж в городки-то – некто не ушёл... Спали все, знашь.

И Исавых семерых мужиков, у которых в гусары сё парней-то брали, под пули поставили-уложили... Вот токо ровня мой Иван Исав из них один живой и осталси. А что? На охоту ушёл – да из лесу припозднилси, на хуторе ночевал. А день-то опять зря проходил-устал – ногу больно натёр. Да опять к леснику возвернулси. Пустой домой сё не шёл-не хотел – а нога-то на хуторе и разболелась...

И Миканор Иваныча нашего, Чибирёва, тама ведь расстреляли – со всеми. Баят – первого. Клавка-то Косая глянула токо на нёво, убитого, – да сразу и ушла. Другех уж смертей ждать не стала. Да в конторе над столом и повесилась. Чай, оне, начальство, скрывали сё – вроде как от приступа сердешного её хоронили. И памятник ей высокоай со звездой железной поставили. И она у них до сей поры считается – герой ихняй. А уборщица-то конторска сё одно уж видала. И как из петли её сымали, подтирала под ней... Да.

А в Миканор Иваныча, баят, в мёртвого – и то сверху сё начальник самарскай без перерыву из револьверту свово стрелял. Покудова барабан не опорожнилси, не опросталси весь. И уж барабан-от, сказывают, пустой, а он сё над Миканор Иванычем на курок-то – жмёт да жмёт: уж и не соображат... Боялись оне тама, баят, кабы он слово людям не сказал, Миканор Иваныч. Боялись что-то больно...

Вот – не сказал.

Знать, уж без толку было...

Токо, баят, глядел. Напрямки вверх, связаннай, глядел... И мёртвай-то – прямо глядел... И Клавка тут сразу – повёрнулась-ушла. От мёртвого. Эт уж за её спиной – в остальных из винтовков сё стреляли, да ище по одному прикладами добивали...

Которы про Клавку бают, из домов-то крайних потихоньку видали: качалась вроде – в контору-то из балки одна шла. В фуфайке да в шале через поле шла – за сердце, бают, держалась. Уж на стрельбу-то – не оборачивалась... Да на красной тряпке и повесилась-удавилась. Какой-то красной сатин, что ль, у них там, в конторе, лежал? Вот, вроде, у матери какой-то она край длинной оторвала – да верёвку-то себе красну на горло и свила. Так люди-то бают...

А их похоронить – и то из балки не отдали. Родным – не отдали. Так оне до сей поры гуртом зарыты, без гробов – в земле одной, вместе и лежат. И глаза им, знашь, не закрыли... В земле. Двести шоснадцать – мужиков. И глаза у них – открыты...

И нам ба, Лунёвым, там – всем мужикам лежать! В балке. Да. В Харитоновой. Лежать ба. Если б дом-от не сгорел... А оне, видишь, – по хорошим домам с винтовками шли...

Ну: и полсела тут жа на подводы посажали, токо-токо развиднелось... С детьми, стариками, с бабёнкими. У кого дома получше были... А брать – вот что с собой в руках унесёшь: больше не полагаются.

В Сибирь да в киргизы на смерть повезли, там на снег голай кинули – в глуши в самой, где жилья живого на сто вёрст, бают, нету... Вот и живи с детьми на снегу, как хошь, по волчьему...

Иван-то Исав на другой день из лесу пришёл, а тут уж – никакой родни. И ни семьи – ни жоны. Этих – расстреляли, тех – в киргизы угнали-увезли. Оне тама все и перемёрли. Матрёна-то ёво – она ведь слабенька-светленька была. Мало, наверно, и мучилась. Светленька-слабенька. Как синичка...

Вот он, Иван, тогда из лесу пришёл – да сразу и скрылси. И то что уехал! Скрывалси да скиталси потом сколь годов. Иван Исав. Без угла – без пачпорту. То к грузчикам где прибьётся, то нужники чистить подрядится. Скрывалси...

А отудова ведь никто, считай, не возвернулси. Из киргизов. Перемёрли подчистую все почти что... И вот от чово мы ище спаслись... Пожаром, знашь, опять спаслись...

А не пошеница если ба зарыта, не семь ба пудов – мы ба и перву зиму не пережили! Так-то, знашь, с голоду двоих девчоночков своих уж во вторую зиму токо похоронили-зарыли. Нине – третий доходил. А Зиночке – года не было. И вот Зиночка-то была – беленька в кудерках, да как кукла – пригоженька больно. И в гробике-то лежала махонька – как игрушешна-фарфорова.

Гробик со двора выносим – март как раз холодной был. Марток – надёвай трое порток... А Дуняша четырёхлетня голодна за гробиком-то бежит да ручонку сё тянет:

– Зачем вы её, как Ниночку нашу, в яму закопать хотите? Чай, оставьте её мне!.. Отдайте лучше мне – я с ней играть буду. А то у меня кукла уж стара-чумаза. Не уносите!.. – просит.

Просит, да за полы дёргат – то Надёнку, а то меня:

– Не нады – не зарывайте. Мне играть оставьте... Я её, Зиночку, беречь буду. Я не запачкью!..

А Вахорка Вашкин к лету уж в бане-то помер – про Жучку-то говорил, на пишалке играл... Вот, все младенчики наши, Лунёвы, под одним крестом большим вместе и лежат. Томкины – Лушенька семилетня, Коля-мальчик, года три ёму некак было. Ивановы дети все, уж большеньки – Павел, да Ваня, да Васенька. И Вашкины трое: Яшенька да Вахорка с Марусенькой. Тама все...

А Дуняша у нас – она уж тяжелыше всех помирала, и под саму осень. Во вторую голодовку. Это – когда маманька от голоду померла. И Вашку да тятеньку – их уж без гробов когда похоронили. Сил ни у кого не было – гробы-то делать... Так, знашь, махонька осталась, Дуняша. Рост у ней задержалси-остановилси: недокормыш! Токо живот раздулси, а личико – старенько, морщинисто стало. И вот так жа, как за гробиком она ручонку сё тянула да Зиночку оставить ей просила играть, точь-в-точь вот эдак же вот руку-то к нам и тянет. Кто мимо взрослай идёт, сам от голоду падат, – а она с лавки рукой-то сё:

– Ай уж корочки-то – и то мне нету?

Да опять, рукой-то сё – качат-тянется:

– ...Чай уж корочку одну где-небудь – найдите мне!.. Одной-то корочки маненькой – ай уж не найдёте?

Корочку просила... Мальчик маненькай, Паня наш, помирал – молчал. В потолок токо глядел-молчал. Как взрослай... А она – просила. Дуняша... Вот, и оне там – под большэм крестом...

Тятенька тожа – тижало отходил: ноги у нёво как брёвны от водянки сделались. Он и не ложилси – и день сидел, и ночь сидел... А мерещилось ёму – быдто гречневой кашей пахнет.

– Вон, – баит, – как из конторы ихой кашей-то тянет. Это ведь оне гречку нашу варют – едят тама. Котору из ларя увозили... Нашу гречку едят...

Так одно и то же говорил-сидел.

Вот. Дом-от строил для всех – рази думал, что и гроба деревянного ёму – уж не сколотют? Да...

А Томка – позднее отошёл. В лесу. Липову кору грыз, на снегу лежал... В садах во всех уж объедены деревья были – белы стояли как скелеты. Сады. Без коры в Лунёве стояли – деревья все... Вот, в лес уполз. Томка-то наш. На снегу помер, уж на себя не похожай... Как ёму кокурки-то маманькины снились, чай. Голодному... Которы она ёму в карманы сё совала. Кокурки да ранетки маманькины...

И, помню – тихо вот больно было. Какая тут куры-петухи – кошек-то, собак давно всех переели... Тихо... Токо, весной уж, песок под ногами – вот ведь как громко скрипит! Как в чей двор по дорожке-то заходишь... Двери – нараспашку везде, окны – нараспашку. К шабрам-то в горницу ступил, а тама Сашина подружка, девочка на столе положена – лежит. Покойница маненька. Одна, незнай, сколь время в дому лежит... И мать что ль ей руки-то на груди сложила – ай кто? Взрослых-то, по дому видать, давно уж тама нет. Один сквозняк пустой над ней, девчоночкой, ходит. Да... Ветер-сквозняк... Ставенка плохая скрипит, качатся... Давно уж, видать, девчоночка-то – одна. И день лежит, и ночь – одна в дому на столе лежит...

Могилы тогда общи были, открыты – их и не зарывали: копать да зарывать, знашь, – некому... А так уж – клали да клали, покойников. Землёй прикидывали чуток.

Иван у нас в мазанке помер – один в лесу, в сторожке, помирать боялси: к нам пришёл. Дарью после детей уж похоронил – да с могилков к нам и пришёл. Как старай старик стал... И не калякал, а так – на лавку сразу лёг. Сё лежал... И Шуроньку нашу – я туда уложил: в могилу общу.

Надёнка-то баит:

– Шуроньку что-то давно не видать. Сходил ба, Василий, через огород-от – я уж до бани к ним сама не дойду: голова больно кружится...

И сидит, знашь, Шуронька на полу, в пальте в Вашкиным в старым. Черно пальто Вашкино надела – зябла, видать. Кожа да кости... Сидит в предбаннике – одна уж осталась. А руки – в тазу с водой, тряпку держут. Мыть, что ль, полы хотела-собралась? Незнай... Согнута застыла. Простенька-то. Полусиротка... Так её на могилки и нёс, через всё Лунёво, как робёнка – сидьмя. Солнышко, народу нету. Ноги-то уж мое отекли. Нёсу...

И опять – вот ведь как песок-от под стопой скрипит-хрустит! На всё Лунёво пустое – скрип громкай больно какой-то... Могила большая открыта – как ров, без

малого полнѣхонька. А ведь Ивана клали – на дно почти-что. Во весь рост Иван-от наш лёг... И сидья-набок, в пальте в Вашкиным в чѣрным, её и положил, Шуроньку. Вот те и простенька... Землѣй маненько притрусил... Да отдыхал там, стоял сѣ.

Надѣнка-то потом с кровати спрашивают:

– Ты что жа как долго через огород-от шѣл? Я уж думала – ты не вернёсси.

– Шуроньку, – баю, – хоронил...

И то что Надѣнка-то послала! А то – незнай, сколь ба время она сидела – над тазом-то. С могилков пришѣл – обезножил ведь я. Ноги-то – набрякли больно. Отнялись...

И обезноженной я уж был, помирал-сидел, когда чуваш-то приехал, в окошко стукнул. Надѣнка под одеялом с детьми лежит: с Саней маненьким – да с Сашенькой нашей. Двое токо, детей наших, осталось – оне уж не встают, не плачут. Помирам все – он и всходит...

А это ведь тятенька сколь уж годов назад чувашу-то картошки семенной четыре мешка давал. Больно чуваш-то просил – сорт наш хорошей себе посадить хотел. Тятенька и поубещалси:

– Чово жа! Заедешь – дам.

И прям бедно, бедно одетай – чуваш-то за картошкой подъехал! Да трахомнай... На телеге-то плохонькой к нам, к дому, подъехал, а тятенька ёму и сказал:

– Ладно! – баит. – Ты уж, Василь Василич, деньги-то – себе оставь-спрячь: не нады... Так вези – да сажай. Потом картошкой, може, когда вернёшь-привезёшь. И с маненького урожаю ты – не отдавай. Шибко-то не торопись. А уж дождѣсси, как больно много её, картошки, уродится – тогда, може, и вернёшь-привезёшь. Ежжяй а ты с Богом!

Чуваш-то, радѣхонькай, и уехал. И мы уж думать про нѣво давно забыли. А тут – видишь как? – урожай больно большой на картошку в чувашах и случилси! Вот он нам её и привѣз вѣсной – воз цельнай, рогожей накрытай. От зимы она у нѣво, знашь, осталась. Он и вспомнил, чуваш... А картофелины – все с ладонь, долги-розовы: как поросята, знашь.

И чуваш-то в мазанке на лавку сел – да и сидит. Он молчит – и мы молчим: кто такой сидит-пришѣл? И не знам... Спросить – силы-голосу у нас уж нету... А он глядит токо – да глаза токо трахомны трѣт. Глаза-то больнѣя – мокнут знашь... Ну, посидел, разгляделси – сам ведро молчком нашѣл, да и стал картошку в мазанку



заносить... На тёрке нам её, сырую, тёр – давал. И детям, и Надёнке. И мне – поднёс... А там уж, под вечер, и варёной маненько дал. Плиту затопил – да в чугунке сварил...

И в ночь-то не уехал, а сидел сё – картошку на семена в вёдры кромсал-резал. Глаза-то больнэя трёт – да режет-сидит... И до утра на половике окыл двери поспал маненько – другом половиком укрлси. А развиднелось – пошёл лопату искать.

Вот, чуваш нам полвоза её и посадил! Уж не вскапывал – а так: лопатой ковырнёт – да воткнёт. Засеил!

Я мол, и то что тятенька денег-то с нёво тогда не взял...

– Уж с большого урожая, – сказал, – може когда вернёшь...

Да. ...А он ведь, чуваш-то, Василий – тожа, ищё ведь разок приежжял! Недели через две, что ль? Мы уж тут выправились маненько, с картошки... Мешок крахмалу завёз, мешок яблоков сушёных, да сала в тряпице солёного, ище зимнего, фунтов пять некак. Вот эдакой – кусок-от... Ну – что-то торопилси больно: уехал сразу – и не покалякал. И не присел что-то. Торопилси... И вот с чово мы поднялись. Кисель яблочнай из крахмала варили да похлёбку сальцем заправляли, растягивали. Силы-то и появились маненько. И ноги мое, знашь, прошли...

И из Ивановой да Вашкиной семьи — никого уж не осталось. А после Томки покойного – Коля токо один, их середняй, кой-как уцелел. Вылитай, знашь, Томка махонькай – точь-в-точь... Нютонька уж в одиночку ёво в анбаре берегла. Она уж ёво, последнего, к своему телу прижатого держала. Шалью примотала – и не выпускала: тепло берегла. Чтоб тепло, знашь, зря не уходило ба – на нёво токо дышала, и в сторону дохнуть – боялась... Глаза-то жёлты с нёво уж не сводила – грела... Не в себе маненько – Нютонька-то была: глаза-то – зверины да страшны уж стали... А тут мы с Надёнкой им киселя-картошки и принесли: дошли до анбара вдвоём кой-как – друг за дружку держались...

И так она ёво, Колю, – сберегла: дышала... Ну – на Курской дуге он в войну, раскрасавец, лёг. Смертию храбрых, знашь. А ведь – Томка и Томка был! Вылитай. В школе училси – больно хорошо. Старалси больно...

Нютонька-то, после похоронки Колиной, как токо получила – да вниз лицом в анбаре и приткнулась: вроде – уснула... Не встала. Уж не проснулась. Я мол, она чай и не захотела – голову-то подымать, глаза свое открывать. Оно уж – и не для чего, их открывать...

И изо всего роду лунёвского – вот: мы токо живэя остались! Я с Надёнкой – да наши двое: Саня старшай – да Сашенька маненька... И у Сани нашего детей так и не

было: на неродихе женилси, да старше себя взял, да с финской-то хворай-раненной пришёл, не пожил... Лунёвых-то, считай, на свете уж и нет. Да.

Уж и фамилья такой – Лунёвы – нашей, считай, что нету...

И вот – одне мы токо чудом уцелели!.. Я мол, може – то, что зимой из нас меньше тепла, что ль, уходило? Еды нам, наверно, меньше надо было, что ль? Мазанка-то – потепле всех была... Мы и протянули! Вот – жребий.

Да чуваш-то, Василь Василич, как раз подоспел. Вспомнил всё жа – подоспел. А маненько пораньше, осенью если ба он её, картошку, нам повёз – он ба ведь и не доехал. Не доехал ба – не довёз. Ище кой-какой народ осенью живой оставалси-бродил – по дороге с возу всё расхватили ба! Дикай уж с голоду – народ-от по дорогам-по улицам тогда бродил... Чай и лошадёнку-то – на ходу ба искусали. Искусали-изрезали ба... А тут уж – тихо. Тихо-пусто кругом было. Мало кто по домам-то чуть живой сидел-лежал...

Ну, в колхоз нас, Лунёвых, сё одно: так уж и не брали. Доверья нам не полагалось.

И мы, при этой власти, до самой войны кой-как перебивались, без хозяйства всякого. А токо бересклет в лесу втроём до войны драли – я, да Нютонька, да Надёнка. Втроём вот на гору-то ходили... Драли – за копейки-задарма в заготконтору сдавали: хлебца-соли маненько покупали... И ели – картошку, да что лес даст... Уж нам дороги до самой войны не было. Лунёвым.

– Эксплататоры, – бают, – вы. Мы вам как роботу дадим? Чай нас уволют!..

И Валя, сама последня уж, мать родилась твоя – в мазанке да в нищете. Чай, сколь слёз маненька-то пролила – сидит утром на печке, в школу не йдёт. Платье плохое, старенько больно. Ей и стыдно... Саша, уж большая, в старым платье учится – не стесняется! А Валя-то маненька – а не йдёт. Кой-как её сымем да отправим силком. Плакала... Вот и все тебе Лунёвы. Изо всего дому – изо всех семей...

Эх! Ведь Машутка Чибирёва, Миканор Иваныча дочка, ищё в киргизах выжила! Марья Миканоровна. Она из ссылки вернулась – в Кряже, в Куйбышевом, жила. В Лунёве-то не стала – сердце у ней жить в Лунёве уж не терпело-болело. Вспоминать болело... Я чай к ней заежжял! Попроведал: как жа!

Вот она и рассказывала. Баит, мое дети отца трезвого – не видали. Больно её Григорий-то пил. И умнай, и красивой, уж детей пятеро было, а он – токо пил без просыпу. И вот, он пьянай на снях во весь хлыст лежит, и не чует, знашь, куды их с детьми на погибель в киргизы вёзут. Токо уж в вагоны скотски их стали в холодны загонять – тогда токо очкнулси маненько...

И попали оне в Средню Азию, на снег, на ветер, на морозы – в самы казакстански степи, больно суровы. Она, степь безлюдна-киргизска, немеряна – простору для смерти вон сколь много. Вот с Волги как эшелоны шли – туды сё ссыльных-то под конвоем ссаживали да толпой-гурьбой пешком и гнали, в степь саму далёку-глыбоку, где людей нету...

Морозы-ветры тама – как в Сибири, а кругом – ни дерева, ни куста. Заслону-защиты уж ни откудова нет... Машутка баит, норы в земле в мёрзлой каждая семья сама себе рыла, камнями выцарапывала, ножами долбила. И от ветру в ямку мостилась. А вместо крыши – тулуп настеленый свой был. Ёво снегом заметёт, тулуп, – вот в норе под тулупом и зимовали. А пелёнки из-под младенчиков на себе сушили. Марья-то баит, вокруг тела своо их, мокры, навьёшь – да телом и сушишь, в норе-то в мёрзлой лежишь...

Аннушка, старша их, шостнадцатилетня, дорогой померла – сё кашлила, в вагоне в скотском... А Григорий в пургу в перву там сразу замёрз – вышел да нору свою в пурге, в снегу потом не нашёл.

А уж остальнэх детей Марья сама, одна, друг за дружкой там, в киргизах – в Казакстане, хоронила. И Марья говорит: как степь после зимы оттаяла, дало им начальство багры да рукавицы – всем семерым, кто в этом месте перезимовал-уцелел. Зимой-то ведь все – от ветру, от пурги в лощинки забивались, кто заплутал. Ну и замерзали в низинках-то по всей степе, в разных местах: сотни да тыщи. Кто нору свою, как Григорий, в снегу не нашарил-потерял... По степе по всей замерзали... Вот, чтоб под солнышком от них зараза не пошла ба, вытаскивать их, мёртвых-то, из воды талой заставили. Баграми к берегу притягивать – да в глину по весне зарывать. И Марья баит:

– Подтянем кого багром – глядим всемером, грудимси: «Ба-а, это никак — Парасковья, девка краснополянска, за лунёвского токо-токо просватана была, за Фёдора Игумнова, краснодеревщика... Она! А это ведь – Николушка, валяльщик, окыл моста жил, которай дорого стеснялси за роботу брать... А этот мужик широкай – Кондратий-мельник, вроде что ль? Кондратий! Токо летось камни-то на мельнице менял, новы ставил, ворочил-надрывалси... А это – мальчонка ведь Кондратов. Сё коз-то ихих пас на Лунёвой горе, да сё книжки-то под орешинной сидел-читал... Читат-читат – а козы-то и разбёгутся, он их до ночи и не соберёт!.. Мёртвенькай, замёрз...»

Вот так сё каждого и узнают, стоят с баграми. Ну – и Григорья так жа нашли.

И там, в азиатску глину, зарыла Марья всех своих детей. Всех там, в глине, и оставила... Уж потом к сестре Григорьевой в Кряж приехала. Ну, та и приняла её, слепую.

– Вот, Васятк! – мне баит, у окошка седая в Кряже сидит. – Проплакала я в киргизах свое глаза. Мне их все слёзной солью там выело. Токо щёлочка в них одна светла осталась. Вот по этой щёлочке я и приехала. Щёлочку навёду – и двигаюсь...

Да, ище ведь чово Машутка-то сё баяла?

– Молись, – баит, – Василий, за свою маманьку Овдокею уж день и ночь! Не маманька ба ваша Овдокея – и тебя ба, Васятк, на свете не было ба. И из ваших детей – уж не один живой-то ба не осталси. Токо ба дом несожжённай стоял – для чужэх людей. С домом-то – незнай, уцелели ба что ль... Мало-вероятно.

А я, мол:

– Да рази, если она сожгла – что жа она нам-то не сказала, ни единому сыну? Уж пред смертным своим часом – ай не созналась ба?

– А – она и не скажет! – Машутка-то не верит нам тожа. – Карахтер-то какой! Эт уж Овдокея так себе раз наказала – и на всю жизнь зареклась: для всех лучше – не говорить! Так уж всё сполнила.

Она, маманька Овдокея, больно по всем тосковала первы дни – в мазанке-то. И рядом все, знашь, да не на её глазах: идти нады. Ну и распорядиться всеми привыкла сама – а тут уж нет: всяк по своему живёт, и уж не больно кто её спрашивает.

– Мамань, садись-садись... – что у Вашки в бане попервости бают, что у Томыньки в анбаре, а у всех – свое дела-печали. Её уж и не больно понимают, маманьку нашу... Она сё и вернётся от них, вся чорна...

Я мол, она больше с тоски, чем с голоду, чай, и померла. Так, чорна, на тот свет отправилась – не отошла, после пожару-то... Ище до Дуняшиной смерти. Да... Это вот слева от большого креста лунёвского, где младеньчики лежат, дети-отроки, её – могилка-то. Маманьки Овдокеи нашей! Там – крест поменьше...

А справа – тятенькин. А там уж – Надёнкин. И моё тут место осталось, узенько уж совсем, – рядом, под дубком...

Ну – нам что не помирать? Нам – легко! Это царям да богатым – им как ведь трудно-тижало: вон сколь всего оставить нады! Всякого добра! Как чай им трудно – с добром-то всем своим расставаться! Мно-о-о-го награбастали... Оне – уж сильно мучиются, конечно. А нам – что? Нам и хорошо. Легко!.. На лавку лёг – да помер.

И вот мы, два старика двухметровы, я – да Иван Исав, сё на брёвны сядем под вечер, да вот эдак жа – и глядим с нём: зорька-то – как играт. Дом-от уж – сколь годов не загораживат, вот она над бурьяном и полыхат-горит. Полыхат – горит...

На зорьку, знашь, глядим – да всё молчком кряду вспоминам-сидим. Какя все живэя были. И преже я самокрутку с солдатов курил. В солдатах я ведь – сбалвалси маненько. При тятеньке-то – боялси всё жа, а тама – опять на брёвнах сидел-курил: бес меня сё эдак путал. А Надёнка-то мне и сказала:

– Не бросишь курить – помру, к моему гробу прощаться – не подходи.

И вот седьмой год – не курю, как Надёнку-то, баушку твою, на тот свет проводил... А то – табашник ведь я был!

Ну – курить бросил, поначалу – ище так сяк. А эт уж потом она мне мерещиться стала. Надёнка. Солнышко как токо угаснет – щас она на тем месте и стоит.

В сумерках сё стоит, со всеми детьми, знашь, которы под большэм-то крестом лежат. Так оне вокруг неё, маненьки, грудются все... Стоит – да гребень сё, быдто, поправлят. То один, а то другой. Вроде – вот-вот сронит-потерят. Косы-то – тижёлы...

В холщовых рубахах все что-то – и она, и робятки все лунёвски... Над бурьяном-то все и стоят... Робятки маненьки в сумерках – как свечки, знашь, восковэя... Вон их сколь...

Ждут, быдто.

Ну – пропадают. И робятки, и она. Да.

Я уж звал. Уговаривал:

– Надёнк... Чай постой маненько...

Пропадат.

А мы, в другом вечеру, стары валенки с Иваном щас наденем, чтоб ноги от росы не зябли-не ломили ба, опять сидим... Солнышко закатывается – смотрим.

Вот, и ты народилась – и то что дом сгорел!.. На жизнь тожа глядишь... На жизнь нашу глядишь-видишь...

Раз народилась – гляди.